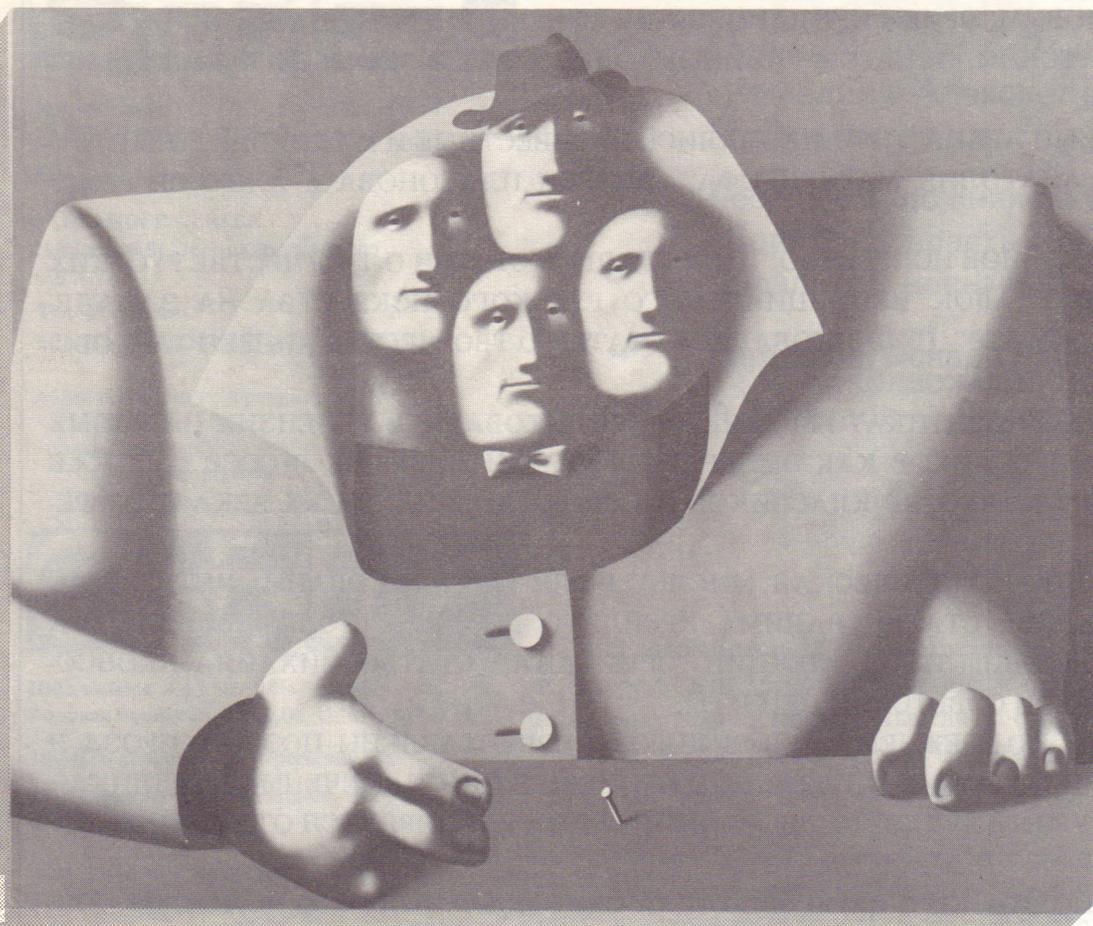


СТРЕЛЕЦ

«Стрелец» — ежемесячник литературы, искусства и общественно-политической мысли

НОЯБРЬ 1984

В НОМЕРЕ:
«ПОД АСФАЛЬТОМ
ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ» —
ГОВОРИТ ХУДОЖНИК
ЦЕЛКОВ



ПРОЗА, СТИХИ,
КРИТИКА,
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
АРХИВ, ЭССЕ,
ВОСПОМИНАНИЯ,
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО

СТРЕЛЕЦ

объявляет подписку

на 1985 год

НА СТРАНИЦАХ НАШЕГО ЖУРНАЛА В 1984 ГОДУ ПУБЛИКОВАЛАСЬ ПРОЗА ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА, ЮЗА АЛЕШКОВСКОГО, ВЛАДИМИРА ВОЙНОВИЧА, ФИЛИППА БЕРМАНА, ЮРИЯ ГАЛЬПЕРИНА, ЕВГЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО, ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА, ЮРИЯ МАМЛЕЕВА, ЮРИЯ МИЛОСЛАВСКОГО, ЛЬВА НАВРОЗОВА, ВАРЛАМА ШАЛАМОВА, СЕРГЕЯ ЮРЬЕНЕНА И ДР. ПОЭЗИЯ ДМИТРИЯ БОБЫШЕВА, НАТАЛЬИ ГОРБАНЕВСКОЙ, ВИКТОРА КРИВУЛИНА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, ИРИНЫ РАТУШИНСКОЙ, ГЕНРИХА САПГИРА, ЕЛЕНА ШВАРЦ И ДР. ВОСПОМИНАНИЯ ЭРНСТА НЕИЗВЕСТНОГО, ОСКАРА РАБИНА, ВЯЧЕСЛАВА СЫСОЕВА, МИХАИЛА ШЕМЯКИНА, ДАСИ ШАЛЯПИНОЙ-ШУВАЛОВОЙ И ДР. ИНТЕРВЬЮ С ВАСИЛИЕМ АКСЕНОВЫМ, ЮРИЕМ КУБЛАНОВСКИМ, ЮРИЕМ КУПЕРОМ, ВЛАДИМИРОМ МАКСИМОВЫМ, ЮРИЕМ МИЛОСЛАВСКИМ, ОСКАРОМ РАБИНЫМ, ОЛЕГОМ ЦЕЛКОВЫМ, СЕРГЕЕМ ЮРЬЕННЫМ И ДР.

В РАЗДЕЛЕ "ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ" ПУБЛИКОВАЛИСЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ А. ВЕТЛУГИНА, АНАТОЛИЯ МАРИЕНГОФА, АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА И АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА.

В РАЗДЕЛЕ "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО" ПОМЕЩАЛИСЬ СТАТЬИ О ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ И ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК НЕОФИЦИАЛЬНОГО РУССКОГО ИСКУССТВА НА ЗАПАДЕ.

В РАЗДЕЛАХ "КИНО" И "ТЕАТР" ПУБЛИКОВАЛИСЬ СТАТЬИ О ТВОРЧЕСТВЕ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО И О ДРАМАТУРГИИ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА.

В РАЗДЕЛЕ "ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА" РЕГУЛЯРНО ПУБЛИКОВАЛИСЬ РЕЦЕНЗИИ НА НОВЫЕ КНИГИ РУССКИХ ПОЭТОВ И ПРОЗАИКОВ КАК ЭМИГРАНТОВ, ТАК И ЖИВУЩИХ В СССР, А ТАКЖЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ О ТВОРЧЕСТВЕ КЛАССИКОВ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА И СОВРЕМЕННЫХ АВТОРОВ.

В РАЗДЕЛЕ "ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ" БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ: ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ СОЛЖЕНИЦЫНЫМ, СТАТЬЯ ВАДИМА КРЕЙДА О ПРОДАЖЕ БОЛЬШЕВИКАМИ НА ЗАПАД НАЦИОНАЛЬНЫХ СОКРОВИЩ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ "ЭРМИТАЖА", СТАТЬЯ МИХАИЛА ЯКОБСОНА О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ СОВЕТСКОЙ ЦЕНЗУРЫ.

В 1985 ГОДУ В ЖУРНАЛЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДУТ ШИРОКО ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПОЭЗИЯ, ПРОЗА И НЕОФИЦИАЛЬНОЕ РУССКОЕ ИСКУССТВО. ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАМЕЧЕНЫ К ПУБЛИКАЦИИ В РАЗДЕЛАХ "ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ" И "ВОСПОМИНАНИЯ". РАСШИРЯЕТСЯ ОТДЕЛ "ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА."

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ С ПЕРЕСЫЛКОЙ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ — 36 ДОЛЛАРОВ. ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ ВО ФРАНЦИИ — 336 ФРАНКОВ.

ДЛЯ ПОДПИСАВШИХСЯ ДО 15 НОЯБРЯ 1984 ГОДА — ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА: 30 ДОЛЛАРОВ ИЛИ 270 ФРАНКОВ.



Директор
МАРИ КОШЕН

Главный редактор
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

Заместитель главного редактора
СЕРГЕЙ ПЕТРУНИС

Художественный редактор
ВИТАЛИЙ ДЛУГИЙ



Фото:

НИНА АЛОВЕРТ
АРТУР ВЕРНЕР



Издательство
"ТРЕТЬЯ ВОЛНА"

Адрес редакции в США:

ALEXANDER GLEZER
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302
U.S.A.

Тел. редакции:
201-434-0378; 201-432-9636

Адрес редакции во Франции:

Alexandre Glezer
Chateau du Moulin de Senlis
92130 Montgeron
France



Цена номера – \$3.50 28F. 9D.M.
Годовая подписка – \$36.00 336F. 107 D.M.

Просьба добавлять на пересылку \$1

Подписчикам журнал доставляется
за счет редакции

© 1984 by "Strelets"
All rights reserved

- 4 Алексей Ковалев — Как можно больше любви. Рассказ
- 8 Наталья Горбаневская — Из новых стихов
- 10 Сергей Юрьенен — Нарушитель границы. Роман. Окончание
- 16 Роман Бар-Ор — Пять стихотворений
- 17 Юрий Мамлеев — Сельская жизнь. Рассказ
- 19 Сергей Юрьенен — О творчестве Владимира Тендрякова
- 21 Елена Тудоровская — На манер снегиря
- 22 Майя Муравник — Гамлет салтовского поселка
- 25 А. Ветлугин — Записки мерзавца. Роман. Продолжение
- 33 Дася Шаляпина-Шувалова — Мой отец — Шаляпин
- 37 Евгений Хорват — Вокруг десяти реплик «Комедии о Алексее человеке Божьем» М. Кузмина. Эссе
- 40 Беседа с художником Олегом Целковым — «Советская власть — асфальт. А жить под асфальтом нельзя»
- 44 Вернисаж Оскара Рабина
А. Давыдов — Две выставки

ОТ РЕДАКЦИИ

21 октября в Музее современного русского искусства в изгнании в Джерси-Сити состоялся вернисаж персональной, и не просто персональной, а ретроспективной, выставки одного из родоначальников неофициального русского искусства Оскара Рабина. На этой экспозиции творчество его представлено достаточно широко, охватывая период с 1957-го по 1984-й год.

Статью Сергея Голлербаха об этой экспозиции вы сможете прочесть в следующем номере журнала, а сегодня мы предлагаем вашему вниманию некоторые картины, которые демонстрируются на этой выставке.

На первой странице обложки репродукция картины Олега Целкова "Четырехголовый с гвоздем", 1981.

алексей ковалев



как можно больше любви

РАССКАЗ

Я беруСь РАССКАЗЫВАТЬ ЭТУ ИСТОРИЮ В НАДЕЖДЕ ПОТРЕЯСТИ ВООБРАЖЕНИЕ ОДНОЙ ОСОБЫ. ДАЛЬШЕ ЭТОГО ПОТРЕЯСЕНИЯ, ЕСЛИ ОНО СЛУЧИТСЯ, МЫСЛИ МОИ НЕ В СИЛАХ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, и я решительно не представляю, что из всего этого выйдет. Что я прибавлю себе в ее отношении, что убавлю, действительно представить трудно. Одно только шальное соображение упрямо заскакивает в голову и тут же вылетает обратно, как человек, случайно вбежавший нагишом в комнату, полную незнакомых людей. Соображение того рода, что она — эта особа — почувствует глубокую трагичность, незаметно оттеняющую все событие, но не в том смысле, что я трагичен, я и не был трагичен, духу не хватало. А просто с самого начала эта тень необъяснимым образом появилась и оставалась до конца в самом дальнем углу, так что ее и не увидели, но она была. Если б спросить, зачем, мол, ты здесь? Кто тебя звал? Она бы сказала из темноты: "Неизвестно. Так уж вышло, что я здесь. И меня это не интересует. И вы меня не интересуете, а просто я вот тут посижу. И не обращайтесь внимания".

И мы все не обращали внимания. А надо обратить, потому что здесь содержится какая-то замечательная суть во всем сочетании, из тех, которые никогда невозможно выразить.

Так вот я и думаю, если она, то есть опять теперь особа вышеупомянутая, обратит внимание и догадается, в чем тут дело, сами понимаете, кем я являюсь в ее глазах. И, может быть, все как-то определенно и восхитительно завершится. Но повторяю, соображение это, как голый, выскакивает вон, захлопнув дверь под визг и хохот.

И еще одно предварительное замечание. Если кто захочет дознаваться, все ли я буквально описал и не скрыл ли чего, потому что история моя все-таки из ряда вон выходит и вряд ли бесследно закончилась, и кое-что содержит такое жутковатое, которое вполне может некоторых обеспокоить и заинтересовать, то объявляю заранее — зря будете трудиться. Все это, со всеми подробностями — чистая моя выдумка. Для чего — я уже объяснил выше. С особой же этой мы наверно все обсудим впоследствии, но это уже касается только нас двоих. А кто излишне любопытен и в этом, пусть посмотрит на себя в зеркало и скажет: "Не пора ли все-таки повзрослеть и покончить с этим беспардонным любопытством. Это стыдно и неловко".

Я интриговать никого не собираюсь, все, что можно будет, расскажу. Если же и есть интрига, то только в отношении все той же особы. Но я уже слишком повторяюсь.

Теперь начну.

Засыпаю я обычно поздно. Есть дела, которые в ежедневной сутолоке, среди мечущихся вокруг людей сделать совершенно невозможно, и я их откладываю на поздний час. То есть, не то чтобы какие-то особенные дела, а просто надо же как-то приводить себя в порядок после того, когда целый день тебя треплют за все места, и в конце ты уже не соображаешь ничего, даже самые простые вещи выглядят как неразрешимые тупики.

Когда все улягутся и утихомятятся, можно посидеть и все обдумать, а, может, что и записать на будущее, если уж очень мучает и преследует. Занятие это неподневольное и приятное, и за временем не следишь. А то еще бывает, что и ночью под окном обнаружатся подростки теперь мальчики — я их никого и в лицо не узнаю, до того выросли. Попыхивают сигаретами, толкуют про свои дела в приподнятом тоне или драку с чужими затеют, а пьяные их девки орут дурными голосами. Тут уж не разберешь, куда деваться — то ли с балкона посмотреть, то ли пойти разнять и успокоить. Однако уже с толку сбили и приходится ждать, когда уйдут. Вот и выходит, что садишься за стол часу во втором ночи. Так что если мне звонят в три часа, даже в четыре, и я нормальным голосом отвечаю, тут еще нет ничего удивительного. Мои друзья это знают и не стесняются, и меня эти звонки обычно не пугают. Говорю я все это для того, чтобы как-то оттенить этот день, потому что хотя я и не испугался, но насторожился. Может быть, как раз из-за того, что именно чего-то в этом роде ждал. Но тогда надо уж хоть вкратце объяснить, о чем я в тот день размышлял.

О странном чувстве к одному человеку. У нас с ней... Не надо, не надо улыбаться прежде времени, потому что тут вовсе не роман никакой, а что-то необычайно своеобразное. У нас с ней давно тянется увлекательная и трогающая сердце игра. Она иногда упрекает меня, что я слишком пассивен. Но я знаю, что это не так, или совсем не в этом дело. Все-таки чтобы действовать, нужно, я думаю, иметь некоторые основа-

ния. А тут лишь я порадостней улыбнусь — она сейчас же замыкается и начинает так свирепо защищать свою самостоятельность, что мне кажется, будто я и впрямь неожиданно для себя приобрел какие-то расширенные права. А весь ужас в том, что права эти мне совсем ни к чему. И тут уж вовсе какая-то европейская загогулина получается, потому что она, эта женщина, мне все-таки очень дорога. Вот и разберись в два счета.

С ней много чего неожиданного случается. Я думаю, что половину она выдумывает, может, и больше, но сразу не поверить нельзя. Не потому, что неудобно, а не получается, и все-таки сначала веришь. А потом, ведь все же может быть. Так что я в конце концов ко многому притерпелся и почти ничему не удивляюсь. Больше того, несмотря на все эти бесконечные и чудовищные новости, я ухитрился так себя определить, что каждый раз счастлив ее видеть и пользуюсь минутками буквально когда мы вместе, чтобы на нее посмотреть как следует. И вот в минутки-то эти и происходит то самое, что меня совершенно намертво к ней привязывает. А именно — сидим мы рядом, и одно только сдерживаемое желание дотронуться до ее колена, до ее руки, руку эту поцеловать уже составляет фантастическую радость. И именно сдерживаемое желание, вот эта самая сдерживаемость и удивительна, потому что получается, что всего этого и не надо вовсе, а так, одна лишь бездумная улыбочка появляется. Это для меня загадка. Никаких угрызений я не испытываю, и ничего похожего на страсть, а просто мы сами по себе остаемся, и каждый в отдельности что-то знает. А вместе иногда посмотрим друг на друга и улыбнемся, и неизвестно — то ли оттого, что одно и то же чувствуем, то ли оттого, что одинаково ловко друг друга обманываем. Я думаю, понятно, что никакой это не роман, хотя наверно мог бы быть. Этого я совсем не исключаю.

За день до этого она заболела. Ну, и конечно, не что-нибудь обыкновенное, а опять немислимая драма. Колола сама себе в руку какие-то витамины. Самостоятельна до умопомрачения. И стало быть — заражение. Температура, все вспухло, тошнит ее, но держится. К врачам обращаться нельзя — скандал. Ну, мы со стороны разузнали кое-что. В общем, ничего страшного, но может быть и заражение крови, и такое случается — врачи сейчас спокойно разговаривают. Сама она предпринимать ничего не дает, выжидает. Чего — неизвестно. Хотел ее в этот день домой проводить, но тут появился еще один паренек, о котором позже, так вот он и провожал.

Ну и еще. Так примерно с неделю происходят какие-то таинственные намеки — мол, если я завтра не приду, то приезжайте, взламывайте дверь и прочее, вроде того, что если я умру, будешь ли плакать. Я все отшучиваюсь, еще не хватало всерьез обсуждать всякую такую чепуху. Но по обыкновению сам не знаю, нет ли в этом какой-нибудь доли правды. Знаю только, что недавно с мужем развелась, и что он никак успокоиться не может.

И вот весь этот вечер окружало меня сильное напряжение, до того, что и сам я стал подергиваться внутренне. Но как всегда допоздна сидел и писал, и вдруг — звонок. Звонит мне человек, который никогда еще не звонил, так что я даже голос его мог бы не узнать, но узнал. Вообще все происходит, как будто заранее обо всем договорились.

— Это ты?

— Да, — говорю.

— Я не извиняюсь... Ты не сможешь отвезти ее домой?

— Сейчас. Вы где?

— Здесь у тебя, внизу.

— Ладно, я спускаюсь.

О чем идет речь? Дело в том, что это тот самый парень, который пошел ее провожать.

Я натягиваю свитер и смотрю на часы, потом в окно. Через полчаса должно светать. Ни секунды я ни в чем не сомневался. Честно говоря, все дальнейшее было уже мной продумано за вечер в разных вариантах и досконально. Конечно, что-то в этом есть совсем детское, но я не то чтобы так уж впрямую сидел и мечтал, я своими делами занимался. Однако попутно, стороной все само собой складывалось. И теперь надо было, чтобы это в самом деле произошло, а не повисло просто так, иначе было бы действительно стыдно. Я даже обрадовался, когда он позвонил, хотя в самый первый момент насторожился. Но это естественно, я тогда много чего пропустил и не подумал, а было кое-что странно.

Например, что он позвонил именно мне и именно ко мне обратился с такой просьбой. Нет, ничего хитрого и психологического здесь нет, просто я особыми физическими данными не славлюсь, а они как раз могли понадобиться, и с такой просьбой никто бы ко мне не обратился, а он и подавно. Он-то вообще ни к кому не обратился бы, надо знать его. Это очень сильный и энергичный человек. Как-то сразу можно увидеть, что он намного сильнее меня, хотя его пиджак, например, был бы мне, наверно, тесноват. Но он, кажется, гимнастикой увлекался. Изредка я ему завидовал, как, впрочем, многим завидую тем, кто вокруг меня уверенно перемальвает жизнь. Но это ненадолго, и брать пример с него мне никогда в голову не приходило. Впрочем, это надо объяснить.

От него всегда создавалось впечатление, что вот человек живет совершенно как хочет, потому что многое, что он делал, всех удивляло сначала. А потом каждый раз как-то незаметно рассасывалось и забывалось. Я это подметил и вот какую вывел отсюда теорию. Это никакое не своеволие, и ничего неординарного тут нет. Он, конечно, обладает сильным чутьем и чуть раньше остальных видит, куда склоняются обстоятельства. Еще никто ничего не подозревает, а он уже делает какой-то прыжок — все в недоумении. А потом постепенно выясняется, что ему и в самом деле пришлось бы там оказаться через некоторое время, наверняка бы его туда затянуло. Но он чуть раньше учуял, куда его гнет, и сам рванул. И чувствует себя каким-то немислимым владыкой природы, и что нигде не упадет, и никто ему не нужен.

Что же тут плохого, скажете вы. А вы спросите его, куда он прыгает и зачем, чего он там нашел. Это его не интересует. А вы останетесь в дураках с вашими вопросами, потому что все-таки он прав, и там ему сейчас место. Кто над этим не задумывается, те в самом деле его считают очень самостоятельным и индивидуальным. Но я-то знаю, что ничего нового он не открывает и не помышляет об этом, и вполне собой доволен. Я же так не согласен, и меня это не увлекает.

Он, правда, кое-чего в своей жизни добился. Но я думаю, что это все на роду ему было написано, и он вполне мог не трудиться и других не вводить в лестное заблуждение относительно себя.

Я отношусь к нему доброжелательно и даже определенное уважение испытываю. Только иногда пугаюсь его быстрого ума. Неосновательный-то он неосновательный, но быстрый, быстрее, чем у меня. Сразу чувствуешь какое-то бессилие. Да кто он такой, в конце концов, думаешь, даже с досадой. Но скоро примиришься и соображаешь: хотя нет, он все-таки персона, конечно, тип. Или, как она говорит: "очень отличный парень".

Насчет нее — тут я совсем не знаю. Только что знакомы они были еще до меня и очень дружны. А что там за этим, ничего не поймешь. Молчание и темнота. А, может, и нет. Я не интересовался и не интересуюсь. Вот клянусь, хоть бы что и было — наплевать. Даже если сейчас есть, наплевать.

Но тогда я ни о чем не успел подумать, а просто пошел. Я не считал, что должно случиться что-то невероятное, и не видел в этом никакой развязки, даже совершенно ничего. И ко всему мог тогда так отнестись. Провалился подо мной лестница, и накинься на меня весь комплект наших дворовых кошек — отбил бы, отряхнулся и пошел как ни в чем не бывало, и ничуть не удивившись. До такой степени хладнокровия она меня довела своими вечными новостями.

Вышел я на улицу. Они в машине сидят, и он придерживает ее за плечи. Кажется, она совсем разболелась. Я сел к шоферу и обернулся. Да, очень плохи были дела.

— Объяснить что-нибудь? — спрашивает он. Я, как полагаю, никакой озабоченности не выказываю. Ничто меня не трогает, и жизнь продолжается.

— Ни слова, — говорю. — Кажется, это, наконец, настоящая работа. Я чувствую, здесь пахнет паленым, Джек.

— Я сигарету уронила.

— Молчи, — говорит он.

Я глазами на нее показываю и спрашиваю потише:

— Ты уверен, что надо домой?

— Домой, домой... — хнычет она. Видно, очень ослабела.

Я отвернулся. Улицы узкие, машина мчится прямо по трамвайным рельсам.

До чего же все-таки все это лишнее, думаю. Лучше никому не станет. Зачем?.. Совершаем какие-то действия — чистая горечь одна... Поругиваю про себя эту гнусную жизнь, что она все время требует платить, платить... Но все это так плавно, вяло, без возбуждения. Просто сам с собой по пути беседую. Как будто не бывает по-другому! За всякую, невольную, быть может, ошибку нельзя платить даже предчувствием опасности. Даже само предчувствие уже так страшно. Сам-то я этого не чувствую, как будто вообще рассуждаю или о других людях. И вдруг неожиданно для себя к шоферу повернулся. Надо, думаю, посмотреть, как он. Что я хотел увидеть, в первую минуту я не знал, а так уставился на него и все. Шофер тоже на меня посмотрел и ухмыльнулся.

— Ну что? — говорит. Ничего себе, думаю, знал бы о чем спрашиваешь...

— Все в порядке, — говорю, — я скажу, где остановиться.

А он все ухмыляется. И тут я сообразил, что с ним тоже надо как-то разобраться, потому что ему не надо ничего видеть, что будет. А я сразу решил, что пойду сначала один, а они пусть в машине посидят. Шофер — молодой парень, как мы. Ладно, думаю, там посмотрим. Неохота было так уж детально все уточнять.

И опять поплыло: давно надо всех избавить от подобного... И дальше в том же духе. Больше никто ни слова не сказал, пока не доехали.

Когда остановились, она все старалась посмотреть в окно, так что приходилось крепко ее держать. Совсем не в себе была, но об этом помнила.

— Видишь, да? — говорит она мне.

— Угу.

На противоположной стороне, справа от арки человек стоял. И здесь плохо дело, подумал я, раз уж он не во дворе, а прямо на улице ждет — плохо дело. Отдал я шоферу деньги, заранее приготовленные, и быстро вылез. А им говорю:

— Посидите, я сейчас.

— Ну ты как, нормально? — он меня спрашивает. Я не отвечаю и иду прямо к арке. И так мне спокойно было и хорошо, что, подходя к человеку этому, я даже за платком полезть не постеснялся. Он, видно, по-своему это понял и тоже — руку в боковой карман. Я только спохватиться и успел — дурак! ничего не умею!

Парень был крепкий, хоть и пониже ростом, чем я. Спортсмены вы все, спортсмены — улыбаюсь про себя. Подошел все так же спокойно, высморкался и твердо говорю:

— Дай закурить.

Он достал сигареты, чиркнул спичкой. Руки у него дрожат.

— Чего дрожишь, — говорю. — Замерз?

Молчит. Смотрит напряженно. Я дальше давлю:

— Давно стоишь?

— Чего надо? — говорит он вдруг.

— Мешаешь ты, братец.

Он не ответил.

— Поздно уже. Люди больны, хотят спать. Вообще, покой нужен. А ты стоишь тут и трясешься. Мешаешь.

Тут он, как бес, рванулся к машине, но я успел ему ножку подставить — и сразу вижу машину, и что они вылезают. Ну, думаю, понеслось! Зря выскочили, надо было во двор его затащить.

Этот уже поднялся и идет ко мне. В правой руке у него заблестело.

— А-а-а... — протянул я так это, понимая, а сам краем глаза вижу — кирпич у стены сложен, метнулся туда, хватаю сверху, замахнулся и чувствую, что ударить не успею — отскочил в сторону. Заскрежетал нож по кирпичу, а парень теперь почти спиной ко мне. Ударю... зря! — мелькнуло у меня. Отбросил кирпич и — сильно кулаком его в лицо. Парень отступил на несколько шагов, но нож все еще в руке.

Он заметно успокоился, двигаться стал не так нервно. Однако, снова приближается, левым боком вперед, руку с ножом прячет за собой. И я так неуклюже, но опять сильно ударил его левой ногой в пах и через пальцы чувствую, что попал и что это за адская должна быть боль. Он завизжал задвленно и согнулся. Тогда я снова изо всей силы трахнул его ногой по лицу. Он весь распахнулся, вскинул руки — нож завякал по асфальту — повернулся боком и упал.

Черт проклятый! Неужели она всю эту гадость видит? Как же так! Разве этого для нее хотелось? Чтоб ты сдох, гадина!

Разозлился я страшно, чуть не пнул его еще, но сдержался. А обернуться боюсь. Но вспомнил, что шофер еще здесь, и обернулся все-таки. На улице пусто — ни людей, ни машин. И опустил сразу, начал соображать. Сначала нож подобрал. Он оказался узким, длинным. Совершенно как живой, и хищный, как змея, и такой же стремительный. Стою, разглядываю и представляю, как бы это могло быть. Как изучают его в качестве улики, а на нем кровь. Ее кровь... Меня перетряхнуло всего. А, может, его кровь или моя, но это меньше трогало. И тут я услышал, как парень этот стонет. Лежал он, совсем в крючок согнувшись, и мычал.

Я достал сигарету, подошел к нему, на корточках присел, но не закуриваю, рассматриваю его. Лица не видно — под руку уткнулся. Я легонько тронул его за плечо.

— Встать можешь?

Стонет по-прежнему. Еще бы, думаю, я понимаю. Но как-то надо? Не лежать же здесь. Милиция может на мотоцикле

проехать. Сейчас все время ездят. Тогда уж действительно хлопот не оберешься.

До арки-то всего было метров десять. Я считал, что во двор его надо тащить. Взялся, попробовал — он громче застонал.

Вот чепуха какая получается... Да и здоров ты все же, убийца чертов. Хоть бы, думаю, он вышел сюда на две минуты. Но там тоже плохо, наверно. Да, видно, мне сегодня подбирать за всеми.

Светать начало.

Знаешь что, решил я, ори, не ори, а пропадать мне совсем ни к чему. Взялся за воротник крепче и поволол. В арку затащил, остановился и задышал, а то все время дышание сдерживал. Дышу и прислушиваюсь. Сколько же сейчас времени, думаю, и куда я, собственно, его волоку? И во дворе скоро ходить начнут. Глупость какая-то ужасная.

Лежит он теперь на спине, глаз не открывает. Губы разбиты и нос тоже, кровь сочится. Не без этого все-таки, отмечаю машинально, да это-то ладно, это уж пустяки какие-то. Однако я пошел, затер ногой несколько капель, там где он упал. Возвращаюсь и вижу, что он пытается подняться, опирается о стену.

— Ну, все в порядке? — бодренько так его спрашиваю. Пыхтит. Я посадил его к стенке спиной.

— Ты не старайся очень. Посиди спокойно. Закурить дать?

— Где нож? — спрашивает. Получается у него из-за губ разбитых: г д и н а ш.

— Ишь ты какой! На, покури лучше.

— А, ладно... Что же делать? — закачал он головой и заплакал, — Штхо дхе-хе-лха-хать...

— Дурак ты паршивый! — не удержался я, — терпеть! Что делать! Терпеть! Или сам задавись.

— Видеть ее не могу...

— Вот и задавись.

Плакал он шумно, навзрыд. Кажется, еще и в поддании был слегка. Потом вдруг перестал, рукавом утерся и равнодушно так на него взглянул.

— Жить не дам.

— Ладно, — говорю, — заткнись. А то сейчас еще врежу. И не посмотрю, что и так рожа набок. Пойдем, посиди на лавочке, воды принесу умыться.

Поднял я его и медленно повел. Он не упирался.

Знаете что, мне давно уже хочётся остановиться. И хоть мы подошли к завершению всего события, я все-таки отвлекусь. Никак не вытерпеть. Какой-то спертый воздух накопился за это время, и противно дышать, как в битком набитом вокзале.

Мне казалось, что все это должно выглядеть чище и прозрачнее, и теперь я, быть может, сожалею, что затеял этот рассказ. Право же, мы еще не добрались до самого главного, а мне уже тошно и хочется все бросить, и это самое главное не кажется больше главным. Совершенно ни к чему прелестной девушке это читать и еще выискивать какие-то внутренние таинства, которых, может, и нет. Вполне вероятно, что нет. А если уж ей не читать, то остальным и подавно. Если бы можно было договориться со всеми, чтобы не корили меня за такой выверт, и оборвать... начинать не надо было, вот что. А раз начал все-таки, голова садовая, надо двигаться до конца. Ужас как неохота. Душно в самом деле.

Значит, веду я его. Идет тяжело, крихтит, крепко на меня опирается.

— Болит? — спрашиваю.

— Не чувствую ничего.

— Надо будет потом к врачу сходить.

Посадил его осторожно на скамейку и пошел за водой.

— Я сейчас.

— А ты-то кто? — он меня спрашивает.

— Никто, — говорю, — я сам по себе.

— Сволочи.

— Да уж, — отмахиваюсь, а у самого так нехорошо на душе. И такая безнадежность во всем проступает. Иду, не оборачиваюсь, вошел в подъезд и на первой же ступеньке остановился.

Так. Ну и куда? Я, значит, стучу, а они там оба раздеты... Что ж, что больна? Может, уже и не больна. Это дело такое... хозяйское — вывернулось вдруг до того нелепо, даже сморщило меня. Тут как раз и обвалился на меня весь этот чудовищный день, к стенке придавило и засыпало по ноздри черт-те чем. Зачем же я сюда лезу-то, думаю, Боже ты мой, ведь это все не мое, все буквально, до самых последних мелочей! Куда же к черту столько души вкладывать в тягомотину эту! А раз влезаешь — исполняй, только исполняй и как-нибудь не увязывай все это варево с жизнью своей. Что, я не убеждался, что мне не присобачиться к ним? Исключено, что они там... вдвоем? Нет, ни за что не исключено. И рад ведь за них? Ну так, вообще-то? А, пускай.

Ну, а что теперь с этим хмырем делать? Ведь не успокоился он. Их вот это не пугает. Просто мешает. Вот мешает просто, и все. Мало ли что мешает, можно убрать. А ты здесь не при чем. Не при чем, голубчик, и не прикидывайся. Негде тебе здесь... Спускается кто-то. Он. И кастрюлю несет.

— Вода? А я как раз за ней.

— А я в окно увидал.

В окно-то, это значит из кухни. Да какая разница, ну их к черту. А, может, из ванной.

Вышли мы во двор — сидит все там же и курит. Неловко у него получается это дело с разбитым-то ртом. Немного светлее стало. И вообще какая-то другая жизнь пошла. Никого не узнать, как будто только что встретились. Все разорвалось, можно взять, да и разойтись молча.

Этот, наш с ней знакомый подошел к нему и грубо говорит:

— Брось соску, давай умойся.

Парень побитый вообще не пожелал ему отвечать. А я на них гляжу и мне неудобно, будто подслушиваю интимный разговор, потому что их кое-что связывало, мне совершенно неизвестное. Что-то было. Обрывки разговоров мне припомнились. Они где-то виделись и друг друга знали, может быть, и очень даже хорошо. Где, когда и что это было — ничего не знаю.

Один льет воду из кастрюли, другой аккуратно лицо вытирает и крихтит опять, видно, больно все-таки. Потом наш "очень отличный парень" сует побитому чистый платок и садится на корточки.

— Ну-ка, — заглядывает снизу, — сходи, пусть скобки положат, а то будешь уродом.

Дальше — встает и говорит резко, как всегда, энергично и пальцем указательным себе помогает:

— Смотри, мне эта крутя надоела. Я тебя посажу в конце концов. Или в больницу сдам, еще лучше, понял?

Эх, думаю, глупо, ну до чего же глупо. Ничего ты тут не поделаешь. По тому только одному, что она его жалеет. И нельзя ей об этом забывать, а, значит, и нам. И все дело, стало быть,

в нем. И как он повернет, так вы и будете крутиться. Может, и я.

И еще подумал: чудно он все-таки говорит — меня-то вроде и нет. И не было.

Вражина наш поднялся и к арке пошел. Нет, он его все-таки догоняет, за руку схватил, к себе повернул и опять:

— Ты понял или нет?

Ну, тот руку вырвал, да ушел.

Вот и все, думаю, а лучше не сделаешь.

Возвращается он ко мне.

— Не сердись?

— Да что ты, — говорю, — слава Богу, что увел ее. Как там?

— Все нормально. Там соседка — врачиха. Говорит — ничего страшного. Спит. Давай покурим.

Закурили.

Чего сидеть-то, думаю, все закончено. Все, что можно. И встал.

— Ладно, пойду. Надо поспать. Будь здоров.

Пожал ему крепко руку и тоже ушел.

В трамвае сел сзади, чтобы не смотрели — затрясло меня. Рука начала болеть. Посмотрел — ничего, ушиб. Голова тяжелая, как кочан и пустая. Ну и хорошо.

Когда во двор входил, вижу слева у помойки — костер горит. Там складывают ветки, мусор сгребают, обломки вся-

кие — мебели, ящиков и палат по утрам. Я подошел и постоял, погрелся. Пламя чистое, яркое и без дыма — одно дерево горит и пощелкивает.

Как хорошо, думаю, больше ничего не надо. А то все мучения, страдания... Не слишком ли жирно будет?

Вспомнил один случай. Это уж года два назад было. Ничего особенного, да только выпил вечером, ночь не спал — на кухне сидели. Напили кофе, накурились, а к рассвету холодно стало, ну и затрясло, вот как сейчас. А тогда думал, что встретился с откровением. Волнение взглядов, касаний. И смешно мне стало.

А потом вошел в квартиру тихонько, чтобы мать не тревожить, разделся и лег. Растянулся в холодных просторных простынях и все...

...Летали самолеты с ревом, низко, между домами. Иногда задевали за углы и выламывали огромные куски. Жители все тихо сидели по квартирам, и я тоже, и пили чай. Красное солнце вечернее в стены светило. Никто не знал, что делать, но не боялись, а просто тихо сидели и ждали. А самолеты — незнакомые, страшные все летали с дикой скоростью и лавировали, и не успевали повернуть...

1968

ПОЭЗИЯ

наталья горбаневская

★★★

*Бестрепетной рукою
страницы выдирая,
другой, и впрямь другую,
подступишь к двери рая*

*и постучишься в двери
бестрепетной рукою,
оставя недоверье,
доверившись покою*

*небесного чертога,
безоблачной границы...
А поперек порога
легли твои страницы.*

★★★

*До свиданья, черновик
неудачного романа,
мы простимся без обмана,
мы простимся на мосту,
как вишневый черенок,
не привившийся к рябине,
мы простимся без гордыни,
кротко глядя в пустоту.*

*До свиданья, милый мой,
без- или многоименный,
первый или миллионный,
на прощанье шаль с каймой
вместо скатерти стели
под холодным горьким чаем
и — прощен, простим, прощаем —
позабудь мое "Прости".*



ИЗ НОВЫХ
СТИХОВ

И вновь начнем воспоминанье
грядущих дней,
простынь некупленных сминанье
— иль простыней?

Свечи, которой воск не собран
с пчелиных сот,
огарок огоньком недобрым
в лицо дохнет.

Вздохнут уста, шатнется пламя,
и в зеркалах
мы отразимся зеркалами,
и тихий ах

припомнится задолго перед,
и помнишь ли,
как наш паром толкнется в берег
иной земли?..

И говорю себе самой:
"Поговори хоть ты со мной,
Душа моя полна".
Из окон свищут сквозняки,
И в трубке долгие гудки,
И ночь, как я, одна.

Сама себе я говорю:
"Хоть что тебе я подарю,
Хоть шарик надувной".
Из окон шелест тополей
И хлюп асфальтовых полей
По лужам под луной.

Я говорю сама себе:
"Ты всем была в моей судьбе,
А толку ни на грош".
Из окон пересвист и свист,
Дрожит в машинке чистый лист,
И мир, как дождь, хорош.

В слабую горсть алкоголика
пала золотая глава.
Карма рекламного ролика
ровно, спокойно и голенько
с главного входа вплыла.

Как шестикрылая Глория,
крыльями о купола,
провинциального говора
горлица широкогорлая
вплыла сквозь рупора.

И, непоены, некормлены,
злей венецейского льва,
ржут по-за Сулою комони,
плачет о берег: "О, горе мне!" —
как Ярославна, волна.

Льна ли Непрядва неровная,
облачная ль пелена
по двору одурью вздрогнула?
Или в ворота за дровнями
ржавая правда вплыла?

Мандариновая долька,
новогодний холодок.
Охладела бы, да только
жарок на сердце ледок.

Горячит ледок колючий,
кашель мучит и горчит,
а в груди на всякий случай
хладный мятник стучит.

Мандариновые очи,
новогодняя свеча,
дни длинней, короче ночи,
тише дух, и сердце кротче,
только льдинка горяча.

Сергей Юрьенен



*Памяти
Екатерины Александровны Юрьенен,
урожденной Грудинкиной
(Санкт Петербург, 1896 –
Ленинград, 1980)*

НАРУШИТЕЛЬ ГРАНИЦЫ

РОМАН

Х

ФИНСКАЯ ГРАНИЦА

Минул год, и три, и десять, а весна так и не наступила. Наоборот, стало много хуже. Десять лет назад слова дежурного милиционера, заметившего его сквозь стеклянную дверь и подскочившего помочь, не имели бы смысла:

– С утра пораньше макулатурку сдавать?

– Да, – сказал он, таща мимо милиционера по ступенькам мешок из полиэтилена, в которые бережливые люди застегивают на лето свои дубленки. В мешке было все написанное им за эти десять лет, а в стране был острый книжный голод, и не то, что стоящую книгу, но даже само право записаться в очередь, чтобы эту книгу купить, покупалось в обмен на 20 килограммов сданной макулатуры.

Он тащил по асфальтовой дорожке свой мешок, а милиционер, заложив руки за спину, шагал вровень по тротуару. Рукописи были напиханы второпях, как попало, и оглянувшись, он заметил, как шевелит губами попутчик, читая сквозь прозрачный полиэтилен какую-то страницу. Надеюсь, не самую гневную.

– Вы писатель?

– Нет, – мотнул он головой.

– Но вы же из писательского подъезда.

Тринадцатизэтажный дом над ними розовел в лучах восходящего солнца, но Белым окрестные жители прозвали его не только за цвет, а потому что заселили этот дом привилегированным людом. Причем, каждый из десяти подъездов отражал свою ступень привилегированности, начиная с подъезда, отделанного мрамором. Он был из сравнительно скромного подъезда, но для двадцати семи лет это было очень удачное начало. Милиционер настаивал:

– Я к тому, что, может, вы мне книжечку свою надпишите? Я собираю библиотеку автографов, знаете? Из вашего подъезда мне уже многие надписали. В том числе и тот, у которого третьего дня обыск был. Но, между нами говоря, я успел его предупредить. И у него ничего запретного не нашли. Я уважаю писателей. Вы меня понимаете?

– Понимаю. – Он остановился у стоянки. – Но поймите и вы меня: я не писатель. Я всего лишь навсего мудопис.

– Кто?

– Муж дочери писателя. Му-до-пис.

Дошло. Захотел, хлопнул по плечу, оценил цеховую шутку, известную всем членам Московского отделения Союза писателей. И отвязался, обратно пошел, раскачивая выдвинутую антенну своего "уоки-токи", а писатель дотащил мешок до "фольксвагена". Открыл ему пасть. Перевалил туда свой груз и захлопнул капот. Все.

– Эй, – окликнул он у подъезда милиционера. – А есть еще жопис.

– А это кто?

— Жена писателя.

— Ха-ха-ха! — заржал милиционер за стеклянной дверью, а он поднялся лифтом на третий этаж, толкнул дверь, очень престижную, обитую толсто красивым черным дерматином, тускло освещающую узором обоевых гвоздиков и ободком глазка. Влетела ему эта обивка в копеечку, но зато обойщик-левак, захмелившись после трудов праведных, рассказал, кто живет над ним: папаша — полковник, а сынок — лейтенант. О т т у д а. Так что ты, писатель, осторожнее... А кто же мамаша? А мамашу они в гроб загнали. Вот тебе и Белый дом, и "писательский" подъезд.

На кухне в кресле сидела беременная женщина. При его появлении она щелкнула зажигалкой и прикурила очередную сигарету. У нее было русское имя, она носила некогда громкую, пожалуй, даже баснословно громкую российскую фамилию и по-русски говорила без акцента, благодаря урокам бабушки. В ней было нечто русское, во всяком случае, в Москве ее всюду и все принимали за москвичку — из высшего, понятно, общества. Но она была иностранкой. Беременной на девятом месяце. От него, ее советского мужа.

Хрустальная пепельница перед ней была полна окурков, а еще за время отсутствия на столе появилась распечатанная пачка с авторскими экземплярами его первой книги и серебряная ложечка, чайная, с вензелем его предков на черенке.

— Машину не угнали, покрывки не пропорол, моя милиция нас бережет. — Ложечку возьму, мерси.

— А книги?

— Оставляю.

— Сделай еще кофе, будь добр, — сказала иностранка.

Она взяла из пачки экземпляр этой даже не книги — книжечки. В голубой и зеленой, таких сплывающихся, пастельных тонов обложке. Он написал эту книжечку в канун исключения из университета, всего за месяц, за медовый, можно сказать, после чего потратил целое десятилетие, чтобы пробить ее в свет, и это удалось, потому, быть может, что изменил он первой любви, чего Священное Писание делать не рекомендует, но жизнь есть жизнь есть измена. И были потом десятки других, включая Едуко, заразившей его какой-то странной японской болезнью: три недели почему-то левая рука (сик!) была в волдырях... да, включая Едуко и вот ее, избавительницу на сносях. Он снял кастрюльку с кипятком, выключил горелку и, заодно уж, отключил электроплиту.

— Глупо оставлять, — сказала она, откладывая книжечку.

— Они все равно все в макулатуру отправят.

— Здесь я ее и не оставляю.

— А где, у Вольфа?

— Где, где... в России, — усмехнулся он.

Вывыв чашки и ополоснув кофейник, они в последний раз обошли свою первую и не вполне еще обжитую двухкомнатную квартиру, отключили холодильник, приоткрыв дверцу и подстелив тряпку. Перекрыли воду. С взаимоуничтожившимся дюралюминиевым рокотком свели на окна шторы. Пока он перевязывал пачки авторских экземпляров, она — просто так, потому что там было пусто — еще раз открыла потайной ящичек старинного бюро. Сказала:

— Такого у тебя там не будет.

— Плевать.

— Можно было бы продать обратно в комиссионку.

— Да, — сказал он. — Но я не по израильской визе выебываю, не так ли?

Он взвалил на плечо гроздь пачек и прихватил свою

старую портативную машинку. Там машинки не стояли ничего, но она промолчала.

Она вернулась на кухню, чтобы взять пепельницу и ложечку.

Они вышли и захлопнули дверь.

В машине она заняла место у руля, спросила:

— Ключи у тебя?

— Черт! Забыл квартирные отцепить. Вернуться, что ли?

— Пути не будет, — щегольнула знанием российских суеверий, и он положил в ладонь ей связку, и она, выбрав ключик, вставила его в скважину зажигания. — Им все равно придется взламывать.

— Тоже верно... Тормозни рядом вон с тем мусором. Книжку ему надпишу.

— С какой это стати?

— Он Андрюшу перед обыском предупредил. Наш человек.

Перед тем как выехали на Садовое кольцо, он успел раздать две пачки книжек. Еще было три года до Олимпиады, но вся Москва, как завод в конце месяца, была уже охвачена угаром штурмовщины, и мобилизованные по причине нехватки рабочих рук студенты в защитных куртках стройотрядов отработывали свой "трудовой семестр", ломая старые хибары и расширяя дороги. Все флаги будут в гости к нам, репетируя грядущее торжество коммунизма. Будет ли, как записано в Программе КПСС, коммунизм в 1980? Не будет, отвечает армянское радио. Будет Олимпиада. А что было в том, незабвенном 67-ом, когда ты возник на этом асфальте? А было Пятидесятилетие, под шабаш которого незаметно удушили "оттепель"...

Одна студенточка, обтерев руки об задницу, раскрыла книжку, там была фотография автора. Она удивленно подняла глаза:

— Это вы?.. Такой молодой...

— Ранний, — поправил он, — ранний. Молодой — это я сейчас.

— А сколько вам? — спросила другая, еще грудастей.

— Двадцать семь.

— О-о... Лермонтов в этом возрасте уже погиб.

— В Союзе писателей СССР, — сказал он, — средний возраст члена 67. Геронтократия, как и везде.

— А вы член?

— Член.

— Как, уже?.. — Студентки захохотали.

Крикнули вслед:

— Спасибо, товарищ писатель!..

Он шлепнулся на сиденье, захлопнул дверцу: прочь, прочь... Не жизнь, бля: скверный анекдот...

Выбравшись на шоссе, она облегченно вздохнула:

— Эта Москва... Прямо как Ватикан: государство в государстве.

— Вот именно, Ватикан!.. — усмехнулся он.

В чем у меня нет никаких сомнений, так это в существовании антитворческого начала, источника вселенской мертвечины. Можно сказать, религиозный человек я. От противного.

В отличие от Минского шоссе эта дорога — на встречном пути по которой когда-то вместе с Радищевым родилась российская интеллигенция — стратегического значения не имела. На расширение и благоустройство ее поэтому не хватало,

видимо, средств. По пути он развлекал себя тем, что в каждом из описанных Радищевым городков оставлял по экземпляру книжки — и в Черной Грязи, и в Клину, и в Твери (пардон, в К а л и н и н е...) Прямо из "фольксвагена" совал в чьи-то руки. Не пенсионерам, конечно, и не среднему угнетенному бытом и трудом возрасту — беззаботным юным. В Крестьяны, правда, свернуть с шоссе не попросил, оставил пяток экземпляров на скамье под навесом автобусной остановки. Но попросил свернуть налево, на проселок. День на исходе, и уже отмутили больше полпути...

Асфальт на этом проселке кончился через 500 метров. Для показухи — мимоезжим интуристам — дальше и не нужно. Не Сибирь, Европейская Россия, и все же леса здесь глухие. Впрочем, мельк гугла и деревенька. Слева, за черными верхушками, скакало красное солнце. Километров через двадцать лес расступился, и — по обе стороны — раскрылся простор. У перекрестка дорог "фольксваген" затормозил.

Он выключил транзистор и сказал:

— Здесь мое родовое имение.

— Где?

По правую руку засеянное льном всхолмье, по левую сторону овраги, и в центре лесного окоема они одни.

— Где-то там, — показал он в сторону оврагов. — Судя по воспоминаниям о воспоминаниях.

— А ты здесь не был?

— Никогда. — В овраг вела вскопанная коровьими копытами дорога, исчезала, всходила на кручу... — Вытянет твоя тачка, нет? Если застрянем, не беда, я трактор пригоню. Тут километров через пять колхоз.

— Может быть, и вытянет... Только вдруг я рожу?

Сняв руку с руля, она с сомнением огладила живот.

— Но ты же мне пообещала, что не раньше Амстердама?

— Да, — сказала она, — но я, видишь ли, не могла предвидеть таких... апэндаунов.

— Что ж, — сказал он, — отдохни тогда в машине. Не бойся, тут народ неопасный.

Он осторожно прикрыл за собой дверцу, поднял крышку багажника, и, отразившись, солнце ослепило ее. Захлопнул, вытащив свой мешок, набитый рукописями так, что застежка "молния" едва сошлась. Саперную лопатку он сунул за пояс — и потащился под горку, виновато оглядываясь и давя мешком лепешки коровьего навоза. Скрылся и — через семь с половиной минут — возник на подъеме в уменьшенном виде, а потом махнул рукой и пропал.

Красный диск висит над лесом.

Она открыла дверцу, опустила сиденье, откинулась со стоном и вытянула ноги. Она вела машину босиком. Она смежила веки. Полная тишина стояла кругом, только изредка пролетали птицы, и ребенок, еще неизвестного пола, но не мутант, надеюсь, энергично толкался под сердцем. Этот век подорвал их генофонд, ежегодно, по статистике, прибывают сотни тысяч новорожденных, не повинных ни в чем дебилов.. Надеюсь. Остается только верить в голубую кровь. "Что вы хотите, п р и н с е: в Россию можно только верить..." — услышала она его голос, впадая в дрему.

Разбудил ее пристальный взгляд — сквозь стекло, обеими руками сжимая глиняную кринку, смотрел мальчик. Конопатый такой, беленький. Настоящий русачок. Она улыбнулась, и русачок тоже, смелая.

— Вы, тетенька, из Новгорода?

— Нет, из Москвы.

— Откуда? — удивился русачок.

— Москва, — сказала она. — Разве ты не знаешь?

— Неа. Тоже, что ль, город?

— Это, — сказала она, — столица твоей родины. Раньше Петербург был, а теперь Москва. Там Кремль.

— Тетенька, — перебил русачок, — а это чья машина?

— Моя.

— Бабы, они на машинах не ездят, Врете, да?

— Почему же я вру? — улыбнулась и она. Не выпуская свою кринку, он обошел "фольксваген" кругом и утвердительно предположил:

— Вы, наверное, из милиции... А пистолет у вас есть?

— Нет. Бабам пистолет не выдают.

Он понимающе кивнул, после чего спросил:

— Тетенька, а можно бибикнуть?

— А ты умеешь?

Русачок бережно передал ей кринку, в горле которой пенилось парное молоко, всунул в машину ручонку — и протяжный звук клаксона огласил даль послезакатных сумерек...

Кринка была шершавая и теплая.

— Попейте, если хотите, — сказал он. — А то я все равно разолью.

— А тебе далеко? — спросила она после глотка.

— Да не так, чтобы очень. Но и не особо близко. До Родничков, знаете? — Он сказал это так, будто это был центр мира, и она кивнула:

— Знаю. — И толкнула правую дверцу. — Садись, подвезу!

Когда она вернулась, он сидел у перекрестка на корточках и отмывал в луже лезвие лопатки.

— Гудела-гудела, — сказал он, занимая свое место, — а самой нет.

— Это не я гудела.

— А кто?

Не ответила.

— Где ты была?

— Так, — сказала она... — Была.

Он пожал плечами. — Я задержался, прости, но это, знаешь ли, непросто, — сказал он, — выкопать себе могилу... Да! Смотри, что я откопал! — Он показал ей серебряную монетку со стертым профилем Екатерины Великой. — Гривенник, причем 1789 года! То есть всего за год до радищевского "Путешествия из Петербурга в Москву". — Подбросил ногтем, поймал и застегнул в нагрудный карман джинсовой рубашки. — С нумизматической точки зрения, зеро, но все равно приятно было получить... Таким образом, земля моя со мной расплатилась. Квиты!

Она переждала фары встречного грузовика и съехала на темное шоссе, выворачивая влево, на Новгород; там ей, как иностранке, сдали номер-люкс, а ему, как советскому, пришлось влезать в окно по водосточной трубе.

На следующий день по ее филологическим делам они заехали в Старую Руссу, изображенную в "Братьях Карамазовых" под псевдонимом Скотопригоньевск, вряд ли, кстати говоря, справедливым: сейчас, сто лет спустя, но мало изменившись, у слияния рек Полисти, Перерытицы и Порусьи, был чудо как хорош. Древнюю церковь Мины, конечно, выкорчевали, как и бедную Владимирскую, и другие церковки великого романа, но Дом Достоевского сохранился, и ей казалось, что все еще обратимо. А разве нет? Стоит только перебить таблички, восстановить первоначальные

названия улиц. Возродить Крестецкую (из Карла Маркса), Старогостинодворскую (из Энгельса), и Поперечную (из Клары Цеткин), и Дмитриевскую (из Красных Командиров). Переименовать обратно площадь Революции в Торговую, Советскую набережную — в Красный, "красивый" то есть берег. Набережную Достоевского оставим... Накрутившись по тенистому городку и реставрировав в уме миропорядок, способствовавший высочайшим взлетам русского гения, она вернулась в Новгород — и те две церкви не забыть, белые на зеленом, — и повернула дальше на северо-запад, к столице их предков, и не только его: ее, иностранки, тоже.

В Ленинград они въехали засветло, хотя по часам уже надо было спешить, чтобы успеть до закрытия магазинов. Белые ночи по календарю уже кончились, но по инерции еще продолжались. Окна были откручены, и из машины постепенно выбивало сырой воздух равнинно-болотистого предместья. Он учуял городской сквознячок — ноздри затрепетали.

— Северная Венеция, — произнес он, вспоминая... — Настоящая, она, наверное, иначе все же пахнет?

Она ответила:

— Venice rue.

— Чем?

— Скоро ты сам себе ответишь на этот вопрос.

— Ты устала?

Выдержав паузу, она сказала:

— Нет, но ноги затекают.

— Сейчас отдохнешь у Вольфа.

— Ты думаешь, он у себя?

— Где ему еще быть? Если в психушку не забрали снова, то у себя, конечно.

— А если забрали?

— "Если, если". Дум спиро сперо.

— Только не напивайся, очень тебя прошу.

— Знаешь? — вспыхнул он... — Брось разыгрывать роль опекуни! Я его Бог знает сколько времени не видел, а он, говорят, роман века на Запад переправил. Посильней, чем "Процесс" Кафки. Вот-вот взорвется там, и тогда уж беднягу упекут в Потьму. Как не напиться. Вдребезги уьемся.

— Да? И с прободением язвы, — сказала она, останавливаясь на красный свет, — сляжешь здесь в больницу. Как раз на срок выездной визы. И что тогда? (Если, конечно, не зарежут.) Опять влезать во все это ваше кафкианство с оформлением загранпаспорта? Ну, а если на сей раз откажут?.. Мы — там, а ты так и сгниешь тогда в этом ЦДЛ. В этой банке с литарантулами, как сказал Вознесенский.

— Ладно. Купишь мне бутылку "Ессентуки №17".

— Я не говорю: "Не пей", я говорю: "Не напивайся"... Кошмар! — содрогнулась она от ею же и нарисованной картины.

Тем не менее в "Березке", магазине, обслуживающем только иностранцев и только на конвертируемую валюту, купила не только грузинской минеральной воды, но и "Джони Уокер", и "Московской" в экспортном, то есть пшеничном варианте, и джина, и мартины, и пять блоков американских сигарет (а себе шестой — голубых "капоралей"), и крабов, и икры, и еще чего-то, что вынес за ней бой гостиницы "Европейская". Он, которому, как советскому, туда нельзя было входить, топтался у дверей, как какой-нибудь фарцовщик, а потому положил в протянутую ладонь боя не долларовую, а пятирублевую бумажку. На черном рынке это была максимальная цена доллару, и все равно этот подонок скорчил рожу. Мразь!..

Ни в одной стране, там номинал иностранца не выше. Ни в одной! И только в этой — СССР — ты, советский, свой — как недочеловек... Хуже, чем негру в Южной Африке! Достаточно и этого апартеида, чтобы, свалив, оглянуться во гнев... думал он, по натуре своей отнюдь не злопамятный человек.

Как и десять лет назад, Вольф жил в угловом доме самого устья Невского, у площади Московского вокзала. С чувством возвращения на круги своя, он открыл коленом тяжелую по-старинному дверь парадного, сказал: — Осторожно!.. — потому что пол, выложенный стертой мозаичной плиткой осел по отношению к оставленному за порогом тротуару Невского. Кованая узорчатая решетка лифта — увы, на ремонте. Улиточный завиток бронзовых перил. Сточенные лезвия прогнувшихся мраморных ступеней. Застойная вонь мочи. Медленно поднимаясь, они спугнули было одинокого наркомана, расположившегося в глубокой нише венецианского окна (с видом в символическую безысходность двора). Увидев их, "нарком" с обликом героя "Идиота" (на фазе эпилога, где князь впал в клинический идиотизм), дальше рукав рубашки раскручивать не стал, но шприц убрал, быть может, из деликатности перед беременной женщиной. Ленинградцы и в самом плачевном положении остаются более людьми, чем прочий люд.

На второй площадке, кроме огромной жилой коммуналки находится еще и учреждение — туберкулезный диспансер, и это еще одна из причин, почему его старый друг столь цепко держится за это в бытовом отношении убогое, но стратегически, в карьерном смысле (вокзал!) очень выгодное место. Огромная, двустворчатая дверь по краинам, как причудливыми насекомыми, усеяна звонками всех систем, к каждой из семей — свой. Он надавил кнопку под позеленевшей медной табличкой с вызывающе щегольскими вензелями гравировки: "Г.Х. Вольф, литератор".

Двери здесь двойные: сначала лязгнула внутренняя, потом приоткрылась наружная — на длину цепочки. Высунулось этакое полупрозрачное ангельское личико. Лет десяти.

— Вы к дяде Генриху?

— Да.

— Его нет. — Сняв цепочку, мальчик впустил их в полумрак огромной прихожей.

— А где он?

— Пропал! — кратко ответил мальчик и, обгоняя их, бросился к Генриховой двери, на которой висела разлохмаченная бечевка, концы которой были впаяны в сургучную блямбу. Мальчик приподнял блямбу: — Вот...

Герб сверхдержавы был отгиснут на сургуче.

— Что это? — спросил мальчик.

— Бога ради, идем отсюда, — сказала она.

— Это печать, — сказал он, опуская тяжелый свой груз в нарядных фирменных мешках "Березки". — Кто ее повесил?

— Не знаю, — ответил мальчик. — Я в пионерлагере был. Вернулся, а она висит.

— Идем, — повторила она, — ну?..

— Подожди... Но разве смена уже кончилась?

— Нет.

— А почему же ты вернулся?

— А выгнали.

— За что же?

— За дезертирство... Я землянку выкопал, в лесу, — объяснял мальчик. — Потолок из веток, а сверху дерн. Днем ничего не видно было, а после отбоя и подавно. Директор повел

старшую пионервожатую в лес, и они провалились. Старшая пионервожатая кое-что себе повредила, и директор стал всех допрашивать. Ну, и Велобокин меня заложил, дружок мой бывший. Гадом оказался.

— Ясно, — сказал он. — Но при чем тут "дезертирство"?

— При том, что когда всех заставили играть в военно-патриотическую игру "Русский натиск", я в свое убежище спрятался. И они играли без меня. "В военное время, — сказал директор, — я тебя перед лицом твоих товарищей собственноручно б расстрелял". Сорвал галстук и выгнал. Теперь до конца лета буду смогом дышать. — Мальчик фаталистически вздохнул, добавив, что раньше он думал, смог этот только в Нью-Йорке, но мама сказала: "Нас тоже травят". Общительный такой мальчик. Даже слишком.

— А где твоя мама?

— А сейчас который час?

— Скоро десять.

— Снова, значит, загуляла. А вот эта печать, — спросил он, — она что означает? Что к дяде Генриху входить нельзя?

— Да.

— Жаль, — сказал мальчик. — Когда дядю Генриха в сумасшедший дом отвозили, я к нему ходил.

— У тебя есть ключ?

— Нет, но я знаю, где он спрятан. Мне дядя Генрих показал.

— А где он спрятан?

— А разве вы не знаете? Все друзья дяди Генриха знают. Вы его друг?

— Я друг! — И даже по груди себя ударил, заверяя. — Мы с ним дружили, когда тебя еще на свете не было. Но мы давно не виделись с дядей Генрихом.

Мальчик оглядел их, бросил взгляд на мешки. — Вы не из-за границы приехали?

— Нет, — мотнул он головой, — из Москвы.

— Ладно, — решил мальчик, — идемте...

Жена осталась стоять, прислонясь к косяку запломбированной двери, а он пошел за мальчиком, который вскоре исчез в темноте коридора. Но он знал эту дорогу. Щелкнул выключатель, и мальчик осветился, уже внутри коммунального сортира. Бачок, высоко вознесенный ржавой трубой, был и десять лет спустя не починен, и из затоптанного унитаза хрипела вода, выражая этим звуком как бы протест против своего противоестественного струения. Стены сортира были завешаны самосшитыми мешочками, где каждая семья, населяющая эту коммуналку, держала свою собственную подтирку, хотя все тут подтирались одними и теми же в общем-то газетами. Ну, разве что одна старуха из "бывших" выписывала более высококачественную "Юманите". На одних мешочках были вышиты фамилии владельцев (Философова, Мартинсоны, Редькины, Хамяляйнены...), владельцам других было наплевать. Мальчик приподнял туго набитый холщевый мешочек, на котором к кавказской фамилии Беков какой-то остроумец приписал красным фламастером инициалы "К.Г.", значительно глядя, просунул руку в нашитый сзади кармашек и вынул ключ.

В ушко ключа была вставлена записка, пробитая скрепкой скоросшивателя:

"Всем! всем! всем! (включая КГБ и средства массовой информации цивилизованного мира). Податель сего, не желая уподобляться герою "Процесса", исчезает бесследно. Просто надоело ждать ареста. К тому же кровохарканье, традиционная болезнь петербургского литератора, удерживает меня от роли героя-великомученика Мордовских лагерей. Просьба к

"компетентным органам" не поднимать полмиллиона пограничных войск в ружье: бегу вовнутрь. Просьба к западному издателю моего романа: все гонорары за "копирайт" передать в фонд помощи тем, кто бежит наружу. Просьба к друзьям: не устраивать у меня на сей раз бардак, а поскорей передать огласке вышеизложенное. Я любил вас, так будьте же бдительны: враг не дремлет. Что касается меня, то надеюсь до 1984 года они меня не отыщут, а там увидим кто — кого... Л и т е р а т о р В о л ь ф".

Записку он положил в карман, а ключ вернул мальчику.

— Разве мы не пойдём к дяде Генриху? — разочарованно спросил мальчик.

— Лучше не стоит, — сказал он.

Вернулся и взял беременную жену под руку.

— Эй! — окликнул мальчик. — Вы что-то забыли!

Под опломбированной дверью остались праздничные мешки "Березки".

— Твоя мама курит?

— Как паровоз!

— Вот и отдашь ей сигареты. А пьет?

— Бывает...

— И бутылки, значит, тоже. А икру можешь сам съесть. Договорились?

— Хорошо... — И выскочив на площадку: — Но что это такое, — крикнул вслед, — и к р а?

Вокруг "фольксвагена", запаркованного во дворе дома №110, толпились тени, при их появлении деликатно ретировавшиеся. Они захлопнулись в свою машину, как в сейф, и защелкнулись изнутри. Сидели на дне сумрачного каменного мешка, курили и молча смотрели на дырку подворотни, озаренную по краям газовым излучением с Невского. Мимо дырки текли фигурки гуляк.

— Его арестовали?

— Не успели.

— А где он?

— Исчез... — Он извлек из кармана рубашки послание Вольфа миру и передал ей. Прочитав записку, она глянула в зеркало заднего обзора, подняла подол и спрятала ее в трусы. Трусы на ней были эластичные, специальные трусы, чтобы поддерживать живот. Французские, конечно.

— В случае неадекватной мимики, — предупредил он, — они влезут и в трусы.

— За мимику ты можешь быть спокоен.

— Они специалисты не только по лицевым рефлексам. Насколько мне известно, на каждой таможне имеется гинекологическое кресло.

— Не посмеют.

— У тебя что, дипломатический иммунитет?

— Иммунитет беременной женщины. Дай мне, пожалуйста, атлас. — Листая "Атлас автомобильных дорог СССР", она спросила: — По-твоему, в этой стране можно исчезнуть бесследно?

— Почему бы и нет? Страна огромная, полицейская система несовершенна... Кстати, там у нас сзади не номер случайно записывают?

Она взглянула в зеркало. — Обычный интерес к западной технике. Чисто платонический.

Тем не менее включила зажигание. Проехав мимо облупленных стен и окон с телевизорными отсветами, "фольксваген" втиснулся в тоннель подворотни, рассек толпу на тротуаре

Невского и повернул направо. Он молча смотрел сквозь стекло. Перед Аничковым мостом не выдержал:

— Этот дворец, справа...

— Да?

— Вот на этом углу Достоевский пережил самую восторженную минуту своей жизни. После свидания с Белинским, который жил в том дворце и, прочитав рукопись "Бедных людей", пообещал юноше великое будущее.

— А что там сейчас?

— Ничего. Угол.

— Нет, во дворце?

— Райком КПСС...

— Жаль, что так получилось, — сказала она. — Могли бы остаться в Петербурге хотя бы на день. Взглянуть на фамильные гнезда, на дом Набокова... Большая Морская, 47?

— 47, — подтвердил он, — но улица Герцена.

— Не самое плохое переименование.

— Не самое. — Излучение реклам и витрин перемежалось провалами во тьму боковых улиц и каналов. — Ничего, — сказал он, — купим какие-нибудь открытки. Они здесь хорошего экспортного качества.

Нева была в чешуе бликов. С Дворцового моста она показала налево:

— Там был дом моей бабушки.

— А там моей, — показал он направо, и они рассмеялись. С Васильевского острова по Тучкову мосту переехали на Петроградскую сторону, и там, за Петропавловской, заправились в последний раз дешевым советским бензином. Полный бак.

За городом, на Выборгском шоссе, она прибавила скорость, чтобы расслабиться и унять толчки под сердцем. Он поднес к ее сигарете загибающийся язычок газового пламени, укутал плечи пледом. Вот так же, в 1917, но только в декабре, уходила через финскую границу юная русская княжна, чтобы воссоединиться в Швейцарии с русским офицером, бежавшим из германского плена. Ее профиль по-индейски зорко был устремлен за лобовое стекло, а живот, как нечто отдельное, тяжело покоился на расставленных ляжках.

Сонный Выборг, основанный шведами на пятьсот лет раньше Санкт-Петербурга, без людей выглядел совершенно

по-западному, но это был еще Союз. Он пожал ей колено.

— Ноги не затекли?

Нет.

— Остановимся, я сделаю тебе массаж.

— В Финляндии, — сказала она. — На первой же станции автообслуживания. И выпьем кофе, да? Мечтаю о большой чашке горячего кофе.

Над шоссе клубился туман. Они вернулись к машине, уже обысканной, и захлопнулись. Она небрежно сунула в бардачок свой синий паспорт, сплошь заштемпелеванный самыми разнообразными визами, а он бережно подул на свою первую, нарушившую девственность розовых страничек новенького бордового паспорта.

— Размажется, — ответил он на ее снисходительный взгляд.

После таможни их еще дважды притормаживали на шоссе пограничные патрули, проверяя еще и еще раз паспорта, рефлексы, реакции и заставляя выходить из машины. Крыша была в испарине росы. Во втором патруле был узбек, внешность которого не вязалась со скупым северным пейзажем, рассеченным широким и добротным, еще финнами проложенным пустынным шоссе, в котором было что-то аэродромное...

Занятый разговором с напарником, финский пограничник, услышав за спиной звук машины, нажал кнопку автоматического шлагбаума. Даже не обернулся.

Тот же туман, то же редколесье по обе стороны шоссе, но это был уже Запад, и когда он смотрел на себя в зеркало в ослепительном туалете на станции самообслуживания, ноги вдруг подкосились так, что он схватился за раковину. Он был лихорадочно возбужден, но ноги уже не держали, как будто он, как в юности, перезанимался любовью стоя. Он выбрался наверх, в изнеможении свалился рядом со своим кофе и поднял глаза.

— Не верю, — сказал он. — Этого не может быть! Ради этого один мой друг заплатил жизнью. Я тебе не рассказывал?

ИЗДАТЕЛЬСТВО "SOURCE" («ИСТОЧНИК»)

НАЧИНАЕТ ВЫПУСК АНТОЛОГИИ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Первая книга "Великие Посвященные" Эдуарда Шюре выйдет из печати в июле этого года. В книге освещены вопросы появления человеческих рас и происхождения религиозных систем, а также рассказывается о жизни Рамы, Кришны, Гермеса, Моисея, Орфея, Пифагора, Платона, Иисуса.

"Это были могучие формовщики умов, энергичные будители душ, спасительные организаторы обществ. Жившие только для своих идей, всегда готовые на всякое испытание и знавшие, что умереть за Истину есть величайший и наиболее действенный из подвигов, они создали науки и религии, литературу и искусство, и их живая сила до сих пор питает и живет нас. И если поставить наряду с такой могучей действительностью стремления позитивизма и скептицизма нашего времени, что могут они принести человечеству? Создать сухое поколение без идеала, без высшего света и без веры, не признающее ни души, ни Бога, ни вечности, не верящее в будущность человечества, без энергии и без воли, сомневающееся в самом себе и в свободе человеческой души..."

Эдуард Шюре

Объем книги — прибл. 320 стр. Цена — \$22.50

В Антологию войдут также произведения Штайнера, Фламариона, Рамачараки, Безант, Блаватской и др.

Предварительные заказы на книгу "Великие Посвященные" просьба посылать по адресу:

"SOURCE" L.BROOKS 34 East Av., Middletown, N.Y. 10940

Роман Бар-Ор

5

стихотворений

* * *

Как будто тихо все...
Осенний мокрый ветер,
В тоске, штампует грязь
Засохших красных листьев.
И так мертво и голо,
Что кажется уже,
Заржавленный, на миг остановясь,
Заплачет жернов жизни
От жалости и скуки.

окт. 1967



"Запад есть Запад,
Восток есть Восток..."

Киплинг

Восточный юмор – висельный оскал.
Но тину разогнав в пруду рукою,
увидишь мир в тиши его зеркал.
И только блеск – над быстрою рекою.

Ан в тихом омуте – хоть смейся, хоть грусти
и черт живет, и церкви есть золотыя,
Куда ж сокроешься, коль высечен в кости
весь взлет до Магадана от Батыя.

1975

* * *

На блеклый театральный плащ
запомнивший и снег и злое солнце
как капли винные на глянцеовое донце
на выцветший хитон стекают капли. Осень.

Приди домой, пожалуясь, поплачь
а за тобой – все тот же злобный скрип
под плащ дождя мятеж поднявших сосен,
и одиночества подробный манускрипт.

Так сетует октябрь смывая лак шпалер
и рвутся облака – по ветру – в клочья
где тень твоя – как беглый раб с галер
спешит на казнь, с дороги сбившись к ночи.

1974

* * *

Связь распалась. Прощай, этот миг.
Сонмы душ на пустынной планете
Долистают тех дней черновик.
Лист последний – слетающий
– в вашем лорнете:
В сопряжении слов
как в движении лет
есть обычная праздность движенья
есть и крики волов
и скрипучее пенье телег
и извечный инстинкт возвращенья

Для чего переписывал набело тьму?
В междуречии смерти теряется тема
на летящем листе
как в зрачке Полифема
летописец Никто
разливает сурьму.

1974

* * *

Не по нотам играет на дудочке век-шарлатан
– Но по Сеньке!
Отчего и достались фальшивые керенки нам,
для чего и топтались по вшивой и Вотан и Хам,
из чего и пошили для Тришки медвежий кафтан,
– что нахальные трели к сажено распахнутым ртам
прилепляются легче, чем мякиш к окрашенной стенке!
...на полушку ушанка полна сизоватым димком
добродушнейших душ!
Город Гаммельн прискорбно усох от тщеславной обиды:
мол, за дудочкой века такие ушли пирамиды!..
– что уже не помогут ни нож, ни дележ, ни правож.

1980



Юрий Мамлеев СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

● РАССКАЗ

МНОГО, МНОГО ЧУДЕС НА СВЕТЕ. ВОТ СНЕГ ЗАПОРОШИЛ ВСЕ ЧЕРНЕНЬКИЕ, НАРЦИССИРУЮЩИЕ ДОМИКИ, ПОКРЫЛ БОЛЬНЫЕ ДЕРЕВЬЯ. КОЕ-КОМУ СТАЛО СТРАШНО.

Только не деду Матвею. Не для таких страхов рожден. В темноте живет.

Веселый был дед, бессознательный. Больше всего любил в прорубь нырять. Вылезал быстро, как змея человекья, и голый на гармошке играл. В пляс пускался. Девочек к себе не подпускал, больше деток чувствовал. Собирались около него голоиграющего шестеро-семеро деток малых и зырили на его простодушие.

Кто много видел деда? Да почти никто, хотя внучат у него было видимо-невидимо.

Лик свой скрывал, зато сам был стремительный. Мимо деревни и вокруг леса часто бегал. Туда-сюда. Туда-сюда. Всегда ему было как-то не по себе.

Жизнь свою он проморгал в какое-то бездонное, бездонное болото.

Любил на картинках лук резать, девочкам зубы считать. Были периоды, когда некоторые полагали, что он вообще перестал существовать.

Но потом Матвей о себе напоминал. С годами нарастала у него нечеловеческая активность: то всей деревне дров нарубит, наколет, то просто о себе задумается. Думал по вечерам, смурно, чихая в тьму, или, думавши, долго часами напряженно простаивал на одном месте у крыльца с топором в руках.

Но никто не считал, что он кого-то ожидает. Да и до ожиданий ли ему было?

Часто видели, как он идет быстро-быстро по безлюдному, заснеженному полю, один, на глазах у всей деревни, точно спешит куда-то и вдруг — просто поворачивается и бросает вверх — высоко, высоко к Господу — свою драную, меховую шапку.

”Физкультурник”, — шептались тогда о нем соседи.

Никто не обижал также его жену — смазливую, хоть и в летах бабенку, прятывшуюся где-то по норам.

Летом она иногда выходила из леса прямо на людей и смущала их заднее чувство.

Угрюмый, живущий на подаянье у церкви, психиатр объяснял всем, что люди пугаются Матвеевну в основном от ее полного несоответствия чему-либо. Возражая самому себе, психиатр, правда, говорил, что как же она тогда рожала.

Но начальство слышало, что Матвей, когда имел свою жену, то словно кол ей осиновый в чрево вбивал, как будто она была упырь.

Странно только, что от такого соития рождались вполне дикие, прямолинейные дети.

”Много тут было недосмотра”, — мутно говорило начальство.

Деревня жила святой, малопомешанной жизнью; кто с трактором спал, как с бабою; кто бензин в моторе заговаривал; кто зубы тайным духом лечил. И кругом была масса, масса телевизоров.

Деревенские телевизоры любили не за содержание программ, а за причудливые, бестелесные телодвижения в нем.

— Как на том свете будет, — уверяла всех психиатрова жена старушка Авдотьевна.

На тот свет, правда, стремились все, до умопомешательства. Но так как никто не знал, как туда попасть, то вместо действия это стремление выражалось в массовом, долгом, всенародном скулении на луну, по ночам, на скамейках. Или просто в нудных и бесконечных разговорах о том свете, во всех подробностях, как все равно о баньке.

— Чтой-то мне не тово... Ик... Как бы на том свете скулу не разворотило, — икая, говорила та же психиатрова жена.

В основном же это были простые, незаметные люди. Только Матвей выделялся среди них. Как только к нему приближались — все индивидуальности стирались перед ним, как будто ихние индивидуальности были массового характера, а его, Матвея — всамделишная.

Любил дед портки штопать; скажут, какая же здесь индивидуальность? А смех, смех, которым он раздражался посреди шитья, смех ни с того ни с сего... Смеялся дед, как волк, скорее даже жрал что-то невидимое со смехом, чем просто смеялся.

Одиноко ему, конечно, было, еще с малолетства, и одиноко главным образом от присутствия людей. А может быть и от присутствия себя. Труден он был для понимания.

Все поступки свои квази-нелепые он и сам не мог объяснить; объяснить могло, наверное, только потустороннее анти-существо, которое было связано с ним одной веревочкой.

Но было одно состояние, которое он мог объяснить, и поэтому оно не только на него, но даже на всех остальных действовало реально пугающе.

Но, конечно, это было тоже квази-объяснение.

Дед плясать любил; не только после того, как он весело-крикливо нырнул в прорубь, выпрыгивая пред детьми; это просто походило на чуть потустороннее развлечение. Дед любил также плясать пред пустотой; без всякого присутствия, только разве что совсем дальнего. Дело происходило так. Дед шел,

шел одиноко себе по тропинке и вдруг чувствовал, что сознание выпрыгивает из него и оказывается перед ним в пустоте, как некое зеркальце.

Дед тогда завсегда перед ним, перед незримым сознанием своим в пляс пускался и корчил ему немислимые, даже чуть детские, рожицы. Плям-пам-пам, прям-пам-пам, плям-пам-пам. И так продолжалось подолгу, по полчаса, пока сознание не впрыгивало в деда и он не опоминался.

Самое удивительное, что этот прыг-скок чистого "я" происходил все время на одном и том же месте, неподалеку от общей уборной и паршивенькой березки. И дед вместо того, чтобы обходить это место, всегда норовил туда лезть. Правда, не по своему желанию.

Активность в нем между тем все нарастала и нарастала. Он уже бескорыстно ездил колоть дрова даже в соседские деревни. И стал часто так пропадать по всей области, от одной деревни к другой.

Но давешних привычек своих не забывал.

С топором, на страже пред невидимым по-прежнему стоял.

Кончил он жизнь свою тяжело и противоестественно. Сначала за несколько дней ожирел, в темноте, ворочаясь под плотным воздухом; а ожирев, стал помирать. Одна жена, окаянная, рядом с ним тенью не разлучалась.

А как совсем уже помирал, в агонии, то вдруг стал мочиться; да так весь в моче и вышел. Смотрит жена, а на смертном одре пусто, только матрац весь пропитан терпкой, словно каменной мочой. И такой тяжелый, словно весь Матвей туда ушел.

А как же сознание?

Да разве жена может знать. И хоронить-то некого. Матрац, правда, намертво высушили во дворе, на ветру.

А на следующий день в деревню вошла процессия обнаженных высоких стариков со скрипками; они остановились как раз около того места, где выскакивало сознание Матвея, и, повернувшись лицом к невидимой людям пустоте, молча заиграли на скрипках.

Кончив, медленно скрылись в лесу.



РУССКАЯ МЫСЛЬ

**КРУПНЕЙШАЯ РУССКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА НА ЗАПАДЕ.
ВЫХОДИТ С 1947 ГОДА.**

Новости из Советского Союза и материалы Самиздата.

Публикации в защиту гонимых.

Анализ политической ситуации в мире. Регулярные публикации материалов о борьбе с коммунизмом. Лучшее в западной прессе освещение событий в Польше.

Постоянные обзоры войны в Афганистане.

Проза. Поэзия. Публикации забытых и редких произведений.

Рецензии на книжные новинки и журналы. Мир искусства.

Жизнь российского зарубежья.

«Русская мысль» выходит по четвергам в Париже.

Подписная плата на год

	Обычной почтой:		
	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	74 фр.	138	265
Все остальные страны	107	204	397

Воздушной почтой:			
Европейские страны.			
Северная Африка	119	228	445
США и Латинская Америка.			
Южная Африка	146	281	530
Австралия.			
Япония, Китай	150	290	570
Израиль, Иран	125	240	468

В цену подписки входит выходящее 6 раз в год приложение «Обозрение», аналитический журнал «Р.М.» под редакцией А. М. Некрича.

Адрес редакции: 217, rue Faubourg St. Honore, 75008 Paris.

Телефоны: 563-94-47, 563-21-83.

Литература метрополии: взгляд из Парижа

О ТВОРЧЕСТВЕ
ВЛАДИМИРА
ТЕНДРЯКОВА
(1923–1984)

*Живет он сейчас на даче, в Союзе писателей не показывается... Владимир Тендряков опытен и умен, не высказывается на ураганный огонь; увы, в литературе опыт подобного рода не раз уж приводил писателей к литературной смерти.*²

При своей жизни Тендряков, однако, "умирать" в качестве русского писателя не собирался. Именно поэтому он самоизолировался, затворившись в своей "крепости" — даче в подмосковном поселке Красная Пахра. Не от мизантропии: это был способ самозащиты от агрессии "неподлинного существования". Ну, а когда не защищали стены собственного дома, писатель просто-напросто уходил в бега. Так, по свидетельству Владимира Крупина, в 1973 году Тендряков убежал от празднования своего 50-летия в зимнюю Ялту, где приводил в ужас толпы на набережной своими одинокими заплывами в ледяное море. Он сохранял и физическую, и творческую форму: в последнее десятилетие жизни ежеутренний "джоггинг" был для него столь же привычен, как "неостановимая ежедневная писательская работа".³ И хотя за эти годы Тендряковым написано неизмеримо больше того, что могло пробиться в печать, он в Советском Союзе до конца оставался "живым" автором:

*...Тендряков — один из, увы, немногих у нас писателей, вокруг произведений которых спорить по-настоящему интересно*⁴, —

так резюмировал главный редактор журнала "Дружба народов" Сергей Баруздин одну из последних литературно-критических дискуссий "вокруг Тендрякова".

В литературе он прожил долгую жизнь: первый рассказ им был опубли-

кован в 1948 году. Поскольку официальная критика уже двадцать лет тому назад принялась противопоставлять Тендрякова "старого" Тендрякову "новому" (предпочитая при этом "старого"), стоит выяснить смысл творческой эволюции писателя. Условно можно выделить следующие этапы:

1954 — 1960 — период социально-политической заостренности творчества Тендрякова-антисталиниста, по-писательски формировавшегося "в резкой полемике с теорией и практикой "бесконфликтной" литературы".⁵ Повесть "Ухабы" (1956), эта "классика антисталинского года",⁶ о которой, как и о книге Дудинцева "Не хлебом единым", юноши и девушки спорили, собираясь в самом центре Москвы, у памятника Маяковского,⁷ мужественное и стойкое поведение ее автора в качестве члена редколлегии опального сборника "Литературная Москва"⁸ — все это определило высокую общественную репутацию Владимира Тендрякова.

1960 — 1969 — период этических поисков. Повести "Тройка, семерка, туз" (1960),⁹ "Суд" (1961), в которых социально-политический конфликт переходит в сферу противоборства извечного Добра, олицетворенного все еще верным религиозным ценностям народом, со Злом аморализма "строителей нового", дали основания критику из ортодоксального "Октября" сделать вывод о том, что

последние произведения В. Тендрякова... говорят об определенном повороте в творчестве писателя... повороте отнюдь не к лучшему... Они способны вызвать тревогу за писателя. В этих двух повестях явственно ощущается растерянность

6 августа московское радио сообщило о том, что умер Владимир Федорович Тендряков. В официальном некрологе, который появился на следующий день в "Правде", он был назван "видным советским писателем, коммунистом", который "отдал весь свой талант служению социалистической Родине".¹

По оценке западных специалистов по советской литературе, из тех литературных деятелей "оттепели", которые не эмигрировали и продолжали публиковаться в Советском Союзе, Тендряков был, "возможно, самым выдающимся". Не идя на открытый конфликт с системой и официально оставаясь членом КПСС и СП СССР, Тендряков как писатель и человек, стремился тем не менее "жить не по лжи". Формой нравственного противостояния в "послеоттепельный" период был сам образ его жизни:

Он никогда не мелькает в прессе, как другие. Не произносит речей на съездах. Даже подписи под "коллективным" писательским гневом от него не добьешься. Так ни разу и не добились! (...)

...ушел, как уходят в бомбоубежища во время жестокого налета...

1 "Правда", 7. 8. 1984.

2 Григорий Свирский, На лобном месте, Литература нравственного сопротивления (1946 — 1976 гг.), Новая литературная библиотека, Overseas Publications Interchange Ltd., England, стр. 183, 435-436.

3

Владимир Крупин, Современно и своевременно, В.Ф. Тендрякову — 60 лет, "Литературная газета", 7. 12. 1983, стр. 5

4 Ответственность нравственного выбора, Творчество Владимира Тендрякова с разных точек зрения, "Литературная газета", 14. 7. 1982. Характерно, что, сохраняя верность своему "эскапизму", от участия в этой дискуссии сам Тендряков воздержался.

5 А. А. Нинов, Тендряков, Краткая литературная энциклопедия, изд-во "СЭ", Москва, 1972, т. 7, стр. 464-466.

6

Григорий Свирский, цит. соч., стр. 176-183.

7 Там же, стр. 530.

8 За "Ухабы" Тендрякова обещали выдвинуть на Ленинскую премию — при условии, если он отмежует от "Литературной Москвы": "мол, не имею я со всякими Казакевичами — Алигер ничего общего. Владимир Тендряков не отмежеввался", см.: Григорий Свирский... стр. 183.

9 Особо отмеченную А. Солженицыным, ценившим в Тендрякове "умение взглядывать на мир непредвзято", см.: Александр Солженицын, Архипелаг ГУЛаг, Собрание сочинений, ИМКА-Пресс, Вермонт — Париж, 1980, тт. 3-4, стр. 392.

автора перед сложностями и трудностями жизни... "Страдательный гуманизм"... приобрел в глазах писателя пугающие, гипертрофированные очертания, представился ему необузданной, не подчиненной социальным законам, все захлестывающей стихией. Теперь он в повестях вездесущ, всеобщен, в нем начала и концы человеческой природы.

...Что касается меня, то, даже рискуя угодить в ретрограды, я — за "старого" Тендрякова.¹⁰

1969 — 1'84 — период интенсивного религиозного поиска. Официально было принято считать, что "важнейшее место в творчестве В. Тендрякова занимает борьба за материалистическое, атеистическое мировоззрение".¹¹ Отмечая тот факт, что "никто из современных советских писателей не уделил проблемам атеизма такого места в своем творчестве", журнал "Наука и религия" в канун 50-летия Тендрякова обратился к нему с вопросом:

— Владимир Федорович, что вы считаете началом своего атеизма?

— Мой отец, сельский коммунист (ответил Тендряков — С. Ю.), наотрез отказался крестить меня. Это стало сенсацией в нашем вологодском захолустье,¹² за пятьдесят верст шли старухи, чтобы поглядеть на чудо — первого некрещенного младенца. Им меня демонстрировали: смотрите, рабы Божии, — нет ни копыт, ни когтей, ни хвоста. Так я начал служить делу атеистической пропаганды задолго до того, как сам понял, насколько вредна религия. Однако убежденным атеистом я стал только в зрелые годы, когда смог отнестись к религии и религиозному сознанию серьезно и ответственно.¹³

Творчество писателя, действительно, использовалось в "деле атеистической пропаганды", хотя внимательный анализ таких повестей Тендрякова, как "Чудо-

творная" и "Чрезвычайное" (1961) дал основания критику из "старого" "Нового мира" сделать вывод о том, что "их энергичное безбожничество является фактически разоблачением лояльного "советского" поповства.¹⁴

"Убежденный атеист", пытавшийся осознать причины того, что впоследствии стали называть "религиозным возрождением" страны, Тендряков подвергался обвинениям в проповеди "религии, как чуждой нам идеологии"¹⁵ после публикации повести "Апостольская командировка" (1969), в которой, как писала газета "Известия", процесс превращения атеиста в верующего изображен с ясно выраженным стремлением к тому, чтобы довести до читателя идею правомерности такой духовной эволюции героя.¹⁶

Более того: в той же статье прозрачно намекалось о солидарности Тендрякова с его героем, использующим для утверждения необходимости веры аргументы идентичные тем, что шесть десятилетий назад мистики и мракобесы, такие, как Мережковский, приводили для опровержения марксизма.¹⁷

Последняя из опубликованных повестей Тендрякова "Шестьдесят свечей" (1980) представляет собой исповедь героя, заслуженного советского учителя, одного из представителей той формации "строителей новой жизни", которые, по определению московского критика Юрия Томашевского, хотели сеять добро, но приносили зло.¹⁸

Советские критики отмечали, что образ героя этой повести является персонализацией идеи. Учитель-марксист — это, разумеется, "вредная людям идея",¹⁹ но в ходе дискуссии в "Литературной газете" как-то ускользнуло, что марксист этот — кающийся, что в процессе самораскаяния он приходит даже к мысли

о необходимости самоубийства. И если Тендряков в конечном итоге не дает своему герою *взять в руки наган, совершить очистительный выстрел,*²⁰

то лишь потому, что оставляет за ним, как единственно возможный вариант дальнейшего существования, путь религиозно-нравственного воскресения, солидаризуясь таким образом со взглядами А. Солженицына на будущее страны.

Вместе с тем не стоит упрощать религиозно-политические взгляды Владимира Тендрякова. Противник "насилия, в какой бы форме ни было проявлено"²¹ оно, Тендряков, мягко говоря, скептически относился к идее преодоления коммунистической диктатуры "духовной диктатурой" иного рода. Есть основания полагать, что ему, скорее, была близка мечта русского религиозного философа Владимира Соловьева о том, что Россия сумеет избежать как "западной" угрозы "обезбоженного человека", так и "восточной" угрозы "обесчеловеченного Бога", осуществив идеал религиозного гуманизма. Насколько правомерны эти предположения, покажут последние книги Владимира Тендрякова — повесть "Чистые воды Китежа" и роман "Покушение на миражи". В канун своего 60-летия писатель сдал рукописи этих произведений соответственно в "Дружбу народов" и "Новый мир",²² однако опубликованными их в Советском Союзе увидеть уже не успел...

Из писателей "послеоттепельного" поколения Тендряков больше всех ценил таких представителей религиозно-возрожденческого направления, как Валентин Распутин — *Я верю, что он еще поднимет большие вопросы и скажет новое слово*²³ — и Владимир Крупин.²⁴

Еще при жизни писателя его близкий друг и собрат по перу Юрий Трифо-

10 В. Литвинов, Тендряков "старый" и Тендряков "новый", "Октябрь", 1961, №6, стр. 199-209.

11 "Наука и религия", 1973, №12, стр. 73.

12 Имеется в виду деревня Макаровская, ныне Верховажского р-на Вологодской области, где 5 декабря 1923 года родился будущий писатель.

13 "Наука и религия", цит. номер, стр. та же.

14 Инна Соловьева, Проблемы и проза, Заметки о творчестве Владимира Тендрякова, "Новый мир", 1962, №7, стр. 239.

15 И. Кривелев, Туда и обратно, О повести В. Тендрякова "Апостольская командировка", "Известия", 27. 6. 1970.

16 Там же.

17 Там же.

18 Вышеупомянутая дискуссия о творчестве Тендрякова, "ЛГ", 14. 7. 1982.

19 Там же.

20 Владимир Тендряков, Шестьдесят свечей, повесть, "Дружба народов", 1980, №9, стр. 165.

21 Высокое мужество правды, Беседа с писателем Владимиром Тендряковым, "Комсомольская правда", 9. 7. 1976.

22 Владимир Тендряков, Храню столь бережно, интервью, "Советская Россия", 16. 12. 1983, стр. 6.

23 Владимир Тендряков, Не ждать вдохновения, интервью, "Литературная газета", 18. 4. 1979, стр. 6.

24 Который писал: "Благодарность моя Владимиру Тендрякову за его участие в моей писательской судьбе никогда не умалится", см. Владимир Крупин, цит. юбилейное слово.

нов, ныне тоже уже покойный, писал: *Заслуга Владимира Тендрякова в современной русской литературе весьма значительна. Она состоит не только в том, что он был одним из первопроходцев так называемой "деревенской прозы", достигшей за последние годы немалых успехов; заслуга Тендрякова состоит и в том, что он неустанно поднимал уровень нравственного поиска в нашей литературе...*²⁵

Будем надеяться, что, как это случилось с последним романом самого Юрия Трифонова "Время и место", вопрос о публикации "посмертно" последних книг писателя разрешится без дальнейших отсрочек и в положительном смысле. Уж мертвых-то "они" умеют

любить: 8 августа московское радио сообщило,²⁶ что похороны Владимира Тендрякова состоялись по первому разряду — на Новодевичьем кладбище.

Впрочем, на Новодевичьем ли? Опровергая утверждение московского радио, "Литературная газета" ("В последний путь", ЛГ, 15. 8. 1984, стр. 7) дала иную версию: "Похороны писателя состоялись на Куницевском кладбище (разрядка наша — С.Ю.). Информация "Литгазеты", как последняя по времени, видимо, соответствует действительности.

"Накладку", допущенная московским радио, на наш взгляд, свидетельствует о том, что первоначальный проект похорон Тендрякова на самом "престиж-

ном" кладбище страны был отменен распоряжением свыше в последнюю минуту. В этом предположении укрепляет и маргинальный характер подачи газетного материала о покойном: на 7 странице (несмотря на то, что там же в "Слове прощания" писателем Василием Росляковым Тендряков — "возмутитель спокойствия" — причислен к "осьпающемуся цветку великой литературы").

Итак, в случае Тендрякова, черненковское руководство решило отказаться от традиции "любви к мертвым". Причиной тому, видимо, были все же не столь религиозные "заблуждения" покойного русского писателя, сколько его последовательный антисталинизм.

Сергей Юрьенен

25 Юрий Трифонов, Владимир Тендряков, предисловие к повести "Весенние перевертыши", "Роман-газета", №21, 1974.
26 Сегодня состоялись похороны писателя Тендрякова, М-1, 15.00, 8. 8. 1984.

НА МАНЕР СНЕГИРЯ

Стихи Бродского — книгу, а не только отдельные подборки на тоненьких листках Самиздата — я прочла впервые в Риме. Тогда я еще плохо понимала его поэзию: но подчеркнутое просторечие, нарочитый разнобой его синтаксической и стиховой речи были для меня откровением.

И в стихах "На смерть Жукова" на многом я как бы спотыкалась, многого не могла сразу воспринять... Но стихи уже вошли и в память, и в восприятие. Быть может, потому, что очень отвечали общим чувствам многих. Но ведь это и есть назначение истинной, большой поэзии — говорить за многих...

Сейчас я как бы наново прочла эти стихи.

Умер Жуков. О, у нас умеют делать спектакль даже из смерти опального героя... быть может, именно из смерти. Разумеется, похороны были поданы весьма импозантно.

И вот что увидел поэт.

Далеко от родины, в чужом городе он как бы смотрит телевизионную передачу (или документальный кинофильм) о похоронах прославленного военачаль-

ника. Он отчетливо видит кадры фильма, видит всю церемонию, постепенно приближаясь к ней:

Вижу колонны замерзших внуков,
гроб на лафете, лошади круп...

(края кадра срезали эту лошадь). Вижу военный оркестр, сопровождающий гроб, хотя и не слышу рыдающих возгласов траурного марша:

Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.

Затем крупным планом:

Вижу в регалии убранный труп...

Знаю —

В смерть уезжает пламенный Жуков.

Как много значил для нас этот человек!

Воин, пред коим многие пали
Стены, хоть меч был вражьих тупей..

Поэт сравнивает его с величайшими полководцами мира:

блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.

вспоминает о главной коллизии его последних дней:

кончивший дни свои глухо, в опале...
но и здесь он остается в ряду славнейших:

как Велизарий или Помпей,

а самое главное — он стоит наравне с славнейшим из русских полководцев. Все стихотворение ориентировано именно на это сравнение, на это имя, полно ассоциаций с ним, вызвано этим сопоставлением, хотя с большим художественным тактом это имя нигде не названо. Только в конце звучит как несомненное:

Бей, барабан, и военная флейта
громко свисти на манер снегиря.

Продолжим словами другого поэта:

Что ты заводишь песню военную
Флейте подобно, милый снегирь?
С кем мы пойдем войной на Гиену?
Кто теперь вождь наш, кто богатырь?

Может быть, это снова о Жукове:

К правому делу Жуков десницы
Больше уже не приложит в бою...?

Нет, это стихи Г.Р. Державина "Снегирь" (на смерть Суворова):

Сильный где храбрый, быстрый
Суворов?
Северны громы в гробе лежат).

Слова Бродского о снегире — это уже не ассоциация, а прямое указание: в его стихотворении и тот же оригинальный размер, что у Державина, и "снегирь", и "военная флейта". И кроме того — обилие других словесных и стилистических напоминаний: все эти старинные —

"меч", "десница", "лепта", и "адская область", и слова "поглотит алчная Лета" (вспомним у Державина — "глотаёт царства алчна смерть"). И свойственное Державину просторечие, близкое современному русскому поэту. Оба стихотворения так похожи, намеренно похожи, что порой можно вспоминать и цитировать одно вместо другого — и не различать, откуда взята цитата. Этим сходством современный поэт утверждает сходство судьбы обоих героев. И Суворов был:

Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей.

И Жукову приходилось

Скиптры давая, зваться рабом...

Великого Суворова не любил император Павел, преследовал его своей немилостью. Последние годы жизни Суворова также были омрачены опалой. Не Суворова ли имеет в виду Бродский, обращаясь к Жукову:

Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.

Впрочем, есть здесь и разница. Кто кого боялся? Наше, старшее поколение помнит тот день, когда под проливным дождем Жуков вел свои войска в Москву на парад Победы. Мы не воспринимали этого как "возвращение в страхе". Какой это был для него день! Он смог бы достичь всего, чего бы ни захотел... Он не смог, не захотел. Но мы представляли себе, как боялся его Сталин! Он не простил Жукову своего страха. Он не решился тогда прямо разделаться с победителем, но всемерно постарался унижить его, замолчать его славу, не дать прославиться "родину спасшему, вслух говоря"... вслух этого не посмел сказать никто. Ведь победы одерживает фараон!

Когда же к власти пришли диадохи, они продолжали бояться Жукова. Говорят, во время наиболее острой борьбы за власть, Жуков пригрозил, что вызовет армию и разделается кое-кем. Стоявшие у власти не захотели оказаться "кое-кем". В подходящий момент маршал был отстранен от командования армией. Спаситель родины, полководец, словивший Гитлера, был отправлен на пост командующего отдален-

ным военным округом... Там он и кончил свои дни "глухо, в опале". Быть может, беспристрастные историки назовут все это легендой, но мы в то время не были беспристрастными... Не беспристрастен, слава Богу, и поэт.

Вернемся к поэтам. Державин близко знал Суворова, много разговаривал с ним в последние дни жизни фельдмаршала: знал, о чем думал "умирающий в штатской белой кровати" Суворов; присутствовал при его кончине и стихи свои о снегире написал, прямо придя от смертного одра Суворова. Он вспоминал подробности повседневной жизни полководца, его оригинальный нравственный облик, его "львиное сердце". А для Бродского по отношению к Жукову здесь — "полный провал". В образе Жукова для него нет ничего конкретного. Пафос его поэтической мысли — в другом: в исторической памяти людей о герое. Кульминационная строфа стихотворения начинается с беспорядочно инверсированных строк:

К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою...

Эта взволнованная запутанность речи волнует и нас своей эмоциональной напряженностью. И для нас весь лиризм этого стихотворения отдан тому, на кого надеялись русские люди в этой жестокой войне. При всей сложности наших отношений с властью, зная все ее преступления, Гитлера мы не хотели. Мы верили, что "правым делом" была война, в которой проливал кровь своих солдат Жуков. Это он и скажет им,

...встретившись в адской
области с ними: "Я воевал".

Стихотворение дает выход в историческую перспективу, заставляет снова пережить эти мысли — о великом подвиге полководца, о его опальной жизни и "глухой" смерти, и лицемерной помпезности его погребения.

Так оно и бывает: поэзия не дает умереть истории; память о ней, высокие мысли и чувства остаются

Чрез звуки лиры и трубы...

И пусть "алчная Лета" — общая наша судьба, то что ж... ведь, "жерло вечности" еще далеко от нас... если человечество в безумии своем не погибнет в следующей войне.

Елена Тудоровская

ГАМЛЕТ САЛТОВСКОГО ПОСЕЛКА

Жанр книги не определен — может, роман, а может, большая повесть. Вслед за "Это я — Эдичка" вновь произведение автобиографическое, в котором автор на сей раз описывает собственное отрочество и рисует себя, главного героя Эдуарда Савенко (кстати, это и есть настоящая фамилия Э. Лимонова), в возрасте пятнадцати лет. Действие протекает на протяжении всего одного лишь дня, во время празднования 38-ой годовщины Октябрьской революции. Сюжет прост и незамысловат: Эдик Савенко рыскает по родимому харьковскому поселку Салтовке в поисках займы двухсот пятидесяти рублей для того, чтобы сводить любимую капризную девочку Светку в "шикарную" компанию.

Книга "Подросток Савенко" непривычна для русского читателя, который воспитан, в основном, на произведениях направления реалистического (реализм критический или социалистический) и приучен с детства к литературе нравственного урока, возвышенного идеала и авторам, сеющим "разумное, доброе, вечное". Творчество Э. Лимонова ничего общего ни с возвышенными идеалами, ни с проповедью добра, ни с поисками просвещения не имеет.

Перед нами произведение беспощадное, вывернуто-обнаженное и откровенное, до цинизма жестокое, поражающее странным сочетанием страстной личной причастности к описываемому с объективным бесстрашием естествоиспытателя. С оттенком какого-то брезгливого любопытства кадр за кадром, час за часом автор разворачивает сконцентрированную на коротком отрезке бытия жизнь аборигенов Салтовского поселка, харьковских жителей, советских граждан, какими он их видел 7 ноября 1955 года. (Автор скрупулезно точен в датах и деталях).

В пятидесятые годы нашего столетия, в советской стране, в одном из облепляющих промышленный город Харь-

ков рабочих поселков обитал со своими родителями подросток Эдик Савенко. Жил он в заурядном стандартном доме и в заурядной коммунальной квартире. Родители у него тоже были заурядные — отец военнослужащий, мать — домохозяйка. Однако себя Эдик Савенко считал личностью отнюдь не заурядной. Он называл себя Гамлетом Салтовского поселка, а его приятели, салтовские стилисты и шпаны, дали ему кличку с заманчивым иностранным запахом: Эди-бэби. И как это нередко бывает у талантливых представителей народа — «языко-творца» — попали в самую точку, до предела выразив сущность характера героя этой книги.

Душа Эди-бэби изнеженна и холодна, по натуре он сноб и гангстер. Окружающее шокирует его и угнетает. Ему до омерзения надоели его скучные, вечно читающие нотации родители (мать потому и не работает, чтобы воспитывать единственного сына), надоела пошлая коммуналка, где нет ни единого уголка, где бы он мог быть предоставлен себе и своим занятиям (в мальчишеские годы Эдик много читал и всерьез занимался географией и естественными науками). Ему до тошноты надоел сосед капитан Шепотко, по часу сидящий в туалете и воняющий дешевыми папиросами. Со своим приятелем-стилягой Кадиком (кличка от марки машины «Кадиллак»), наряженные в ярко-желтые непромокаемые куртки и заграничные туфли на толстой подошве, они выглядят яркими тропическими птицами в толпе черных и серых пальто, гудящей у гастронома, где трудящиеся жаждут получить водку и белое вино, так называемый «биомисин».

Рабочая окраина... Такое отрадное сердцу советского писателя словосочетание! Оно влечет за собой целый набор привычных понятий, куда входят и корпуса гигантских заводов, и комсомольские ударные стройки, и радостный труд на благо социалистической родины. Рабочая окраина, в которой родился и жил будущий писатель Эдуард Лимонов, увидена им изнутри и описана именно так, как отразилась она в сознании трезвого, не обработанного, а если и обработанного, то глубоко не задетого советской пропагандой, холодно и без иллюзий взорающего на мир подростка Савенко.

Он видит Салтовку с угрюмыми стандартными рабочими домами и чахлой растительностью, где после каждого дождя улицы утопают в черной жирной грязи. В большом парке «Победа», пред-

назначенном для «народных гуляний», — постоянные драки, грабежи и поножовщина. Для трудящихся построен Дворец культуры, который посещают «чистенькие» комсорги и члены коммунистических бригад. Однако для заполняющей салтовские улицы шпаны они — враждебные чужаки и нередко становятся жертвами пьяных и жестоких малолеток. Автор описывает, как и сам на танцах в парке культуры и отдыха в пьяном виде пырнул комсорга отточенным напильником. Вся сцена рисуется с почти протокольной точностью и безо всяких эмоций, которых гораздо больше в изображении единственной в Салтовке общественной уборной. Здесь легко ранимое зрение и обоняние Эди-бэби оскорблено видом заполняющей помещение мочи, в которой шевелятся бело-розовые черви. А драка и даже убийство — это поединок, в котором побеждает сильнейший, что вполне естественно для жестокого мира, в котором мы живем!

Лимонов сдирает привычный наброшенный советской литературой романтический покров с рабочей окраины. Точно так же сдирает он этот покров и с ее обитателей — рабочих. Отдельные их представители (Борька Чурилов), увиденные с близкого расстояния и наделенные чуткой душой, — Чурилов верит в Бога, много читает, — рисуются с нежностью и симпатией. Но масса трудящихся в целом автору откровенно враждебна. Подросток Савенко видит их усталые лица, злые и безразличные, когда по утрам они идут на работу, и проникается уверенностью, что эти люди не любят свой труд и ненавидят фабрики и заводы. А работают они лишь для того, чтобы жить и выжить, вырастить детей, заработать хоть сколько-нибудь денег. Преисполненный поистине нищенской верой в величие сильной, жестокой личности, подросток Савенко искренне презирает эту пассивную скучную массу, которая с таким безразличием позволяет, чтобы ею манипулировала кучка негодяев, называемая правительством.

Идея диктатуры пролетариата вообще смешна Эди-бэби. По его мнению, в стране победившего социализма должна существовать диктатура шпаны, которая и умнее, и активнее, и сообразительнее медлительных пролетариев. Но все это в области политически незрелой, уголовно-романтической мечты подростка, а в реальной жизни, судя по насыщенной событиями и фактами книге Э. Лимонова, диктатура шпаны всерьез утвердилась именно в Салтовском поселке.

Вот уж поистине царство грабежа, насилия и разбоя! Буйная фантазия автора тут ни при чем, потому что Лимонов к таковой не склонен по складу дарования. Всеми порами своего существа он отдан жизни, плоти, материи, из которой состоит бытие. Отсюда постоянное присутствие собственной личности в каждом кусочке описываемого, отсюда склонность к бытописанию, благодаря чему из всех русских литературных предшественников Лимонова хочется ближе всего поставить к Помяловскому с его «Очерками бурсы».

В мир ежедневной, будничной, естественной для салтовского быта уголовщины автор вводит читателя со спокойной, обстоятельной деловитостью. Все просто и заурядно в этом страшноватеньком мире — сам Эди-бэби, член шайки воров и грабителей, рассказывает, как ограбил магазин и столовую, и теперь с атаманом шайки Костей Бондаренко собирается ограбить дом богатого дяди Левы. Костя давно, но безуспешно хочет научиться взламывать сейфы, однако профессия «медвежатников» давно ликвидирована и сорвать крупный куш не удастся. А другой приятель Эди Гришка признался, что уже год, как мечтает кого-нибудь убить — такое вот есть у него забавное желание! Вот и бродит он по пустынным улочкам в надежде повстречать старичка побеззащитней. Дело убийства поставлено среди шпаны на широкую ногу: существует бизнес оружия, продаются пистолеты, финки и специальные кастеты для проламывания черепов. Кульминационным гребнем книги представляется жуткая сцена группового изнасилования, написанная мастерски, крупным планом и с подробным перечислением деталей.

Не занимаясь социальными прогнозами и анализом политической ситуации, который не очень ему удастся, Э. Лимонов зримо, на картинах и образах показывая, обращается к одному из первых звеньев социалистического воспитания — к советской школе. И рассказывает о ней, как ему свойственно, спокойно, подробно и обнаженно.

В салтовской школе, где он учился, их классный руководитель, здоровенный верзила, методически избивает отстающих учеников в пустом кабинете. Мальчишки и старших, и младших классов «жмут» девчонок в женской уборной, а те, кто посмелей, «хором» занимаются любовью с доступной девицей. Ученики в глаза обзывают учительницу сволочью, а герой произведения не постеснялся

однажды назвать ее жидовкой. Кстати, сам он, Эдик Савенко, поначалу первый ученик и пай-мальчик, пребывал в таком состоянии до одиннадцати лет, пока в один прекрасный день его не избил до потери сознания тупой битюг-второгодник. Он показал хилому книгочею, что в этом мире правит сила и хорошо бывает только наглым и сильным. С тех пор Эди забросил свои книжки, завел остро отточенную бритву, с которой никогда не расставался, и пополнил, в конечном итоге, ряды салтовской шпаны.

Отметим еще одну любопытную деталь, обнаруженную в повествовании об отрочестве Эдуарда Савенко. Лимонов показал, что между салтовской шпаной и рабочими харьковских заводов существует, оказывается, самая непосредственная связь. Отцы его сверстников и приятелей сами в молодости были шпаной. С грехом пополам окончив семилетку, они уходили на улицу, сбивались в шайки, грабили, порою убивали, потом, отсидев положенный срок, возвращались в родную Салтовку. К этому времени они женились, обзаводились семьей, как правило, большой, и необходимость ее содержать толкала к станку. Так жизнь переходила в новую стадию, в стадию рабочего муравья с тяжелыми трудовыми буднями за пятьдесят рублей в месяц.

Об изначальной причине мерзости социалистического бытия Лимонов не пишет в лоб, но исподволь, незримо она поднимается со страниц книги и, наконец, заявляет о себе: "Вот я!". Это пустота, безбожие, бездуховность советской жизни. Мир, нарисованный писателем, потому так и страшен, что в нем нет места Богу. От Бога начинают отлучать, едва в детской голове начинает брезжить сознание, — в саду, в школе, в семье. к Богу совершенно равнодушны гордая своим высшим образованием мать Эдибэби и его отец, который в качестве офицера МВД возит заключенных из Сибири в Харьков. А ведь и неплохой вовсе человек... Во всяком случае, незлой и честно относящийся к работе. Но сам не замечая к а к, ухитрился вытоптать в душе сына все ростки Любви и буйно взрастить только Ненависть. И почти все отцы салтовских ребят, сами успешные получить в наследство этот тяжкий дар, передают его детям. "Бог в Салтовке, — пишет Лимонов, — сидит только в пустых старушечьих головах, а единственную верующую семью, людей милых, думающих, читающих, — салтовчане считают чокнутыми".

Книга Э. Лимонова "Подросток Савенко" стоит особняком в современной русской литературе, успешно разрабатывающей и традиции абсурдизма, и сюрреализма, и метафизического реализма. Лимонов, у которого старинный жанр нравоописательства сочетается с методом холодного, отстраненного анализа и презрением ко всем и всяческим табу — табу на секс, на самый вульгарный лексикон, на советский расизм и множество неприглядных сторон действительности, — целиком лежит в русле современной западной, в основном, американской литературы. Для тех, кто читал "Это я — Эдичка", новая книга Лимонова не станет неожиданностью. Однако не надо забы-

вать, что "Эдичка" целиком построен на материале эмигрантской жизни, а "Подросток Савенко" вскрывает почти неизвестные в литературе пласты провинциальной советской действительности. Эта книга может оттолкнуть беспощадной жестокостью и обнаженностью описаний, нарочитым и ненарочитым цинизмом. Она может притянуть лиризм (да-да! рассказ о любви к капризнице-Светке поражает мучительной страстностью), правдивостью и мастерством. Оставить равнодушным эта книга не может.

Майя Муравник

Подросток Савенко. "Синтаксис", Париж, 1983.

Читайте в следующем номере «Стрельца»

●
ПРОЗА: А. ВЕТЛУГИН И ЮРИЙ ГАЛЬПЕРИН

●
ПОЭЗИЯ: НИКОЛАЙ КРИВУЛИН И ЕВГЕНИЙ ХОРВАТ

●
ВОСПОМИНАНИЯ ДОЧЕРИ Ф. И. ШАЛЯПИНА

●
ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ МУЗЕЯ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ ШАРТРА

●
СТАТЬИ СЕРГЕЯ ГОЛЛЕРБАХА, МАЙИ МУРАВНИК И СЕРГЕЯ ЮРЬЕНЕНА

●
РЕЦЕНЗИИ НА НОВЫЕ КНИГИ И ЖУРНАЛЫ

А. Ветлугин

ЗАПИСКИ МЕРЗАВЦА

МОМЕНТЫ
ЖИЗНИ
ЮРИЯ БЫСТРИЦКОГО

Сергею Есенину и Александру Куликову

VIII

ДЕВОЧКИ, ДЕВЧОНКИ...

1.

КАЖДАЯ ИЗ НИХ ХОТЕЛА ОСТАТЬСЯ НИ С КЕМ НЕСРАВНИМОЙ. А ПОТОМУ Я И "РЕШИЛ ВО ВСЕ БРОСИТЬ ИХ". ЭТО О ДАМАХ, О ДЕВИЦАХ. ОСТАВАЛИСЬ ДЕВОЧКИ, девчонки. Оставался запах не слишком дорогих духов, шуршанье шелковых юбок, едкий, разлагающийся осадок. Зачем? Для чего? Да вот хотя бы затем, чтобы постараться задавить память об Ирине Николаевне.

Гольденблатовский период окончился без шума, без скандалов. Просто, как после тяжелой болезни, проснулся я одним апрельским коралловым утром, раскрыл окна, полюбовался куполами Христа Спасителя и решил — довольно, будет! Если к честной жизни возврата нет, то хоть плутовать будем иначе. В свежести весеннего ветра, в пляске солнечной пыли угасли все чувства и к Ирине Николаевне. Показалась она мне гнилостным рокфором, что подавали вчера в Эрмитаже. Оставь его на ночь, поползет по столу.

Эвань, эвой, налейте чаши,
Несите свежие венки!..

И стал я искать свежие венки, искал четыре года подряд до самой войны, когда пути предопределились и явились новые полнокровные развлечения...

Я просыпался с одной ужасной мыслью: как бы развлечься сегодня вечером? Я был во власти того настроения, которое на Западе порождает клуб самоубийц, а в Москве особую предгрозовую неврастению.

Люди жили, как на постоялом дворе. В дождь и в снег, в ведро и в гнилую оттепель — по Арбатским переулкам снова ли неукротимые призраки. Выбоинами гноились площади. В окнах Чуева, Филиппова, Виноградова лоснился постный сахар и увядали булки, у Шустова были свои особые счета с жи, вописью, трамвай усиленно рекомендовали "Уродонал" Шателена, и в литературно-художественном кружке, в двухэтажном облупленном здании на Большой Дмитровке заезжий светло-

глазый француз проповедывал энтузиазм аудитории из рахитических юношей и перекиших дев.

Один писатель, идучи по Театральной и заглядевшись на авригу, тройку коней сдерживающего на крыше Большого театра, — не сдержал своей истерики и камнем ринулся в снег, ботиками коричневыми вверх к белым каркасом затянутому небу. Писателя съели три равносильных, равноценных желания: идти на Кузнецкий к Сиу, идти в Охотный к Лапину, идти на Петровку к Мюрмерлизу.

Пестро подмигивал Мамонтовский "Метрополь": "тот, кто строит свой дом, научается жить"...

Одна пожилая артистка приняла стрихнин, будучи не в силах совладать с желтизной кожи на груди. Поэтессы — волосатые, чубатые, стриженные — толпами наполняли аптеки в поисках цианистого калия. Поэты — в смокингах, в желтых кофтах, в мужицких армяках — нюхали кокаин и бросались в реку...

На Новинском бульваре, в доме, загубленном фронтонами, седобородый хозяин устроил маскарад в честь обнажения, во славу голого женского тела. С полуночи до полудня запахом терпкого обморочного, падающего пота наполнялись зала и гостиные; крющон ввиду обилия гостей приготовили в мраморной ванне; извергать содержимое желудка ввиду обилия гостей водили не в уборную, а на черную лестницу. Вконец обезумел безбровый юноша, хозяйский сын, и провожая гостя на черную лестницу, твердил в сомнамбулическом забытии:

— Совершенный *моуен аге*, совершеннейший возврат рыцарских времен, в зале розы Франции, на черной лестнице нечистоты Франции.

Петр Федорович разгуливал в крепдешинном хитоне, обнажившим его костистые, кустами поросшие ноги. Петр Федорович щерился на Гауризангары, вылезавшие из-под корсажа розового домино, а в разговоре с хозяйским сыном, желая блеснуть эрудицией по части *моуен аге*, приводил справку, с какого года мягкий коленкор уступил место бумаге "Пели-факс".

В хозяйском кабинете юный, но знаменитый автор "Оживленного Саркофага" угрожал выброситься в окно, и хозяин, высвобождая из-под обезьяней маски, теребил седую ключ-

ками бородку и умолял взять без всякого обозначения срока, ну хотя бы триста пятьдесят рублей.

В передней, в кабинете, в вестибюле дребезжали телефоны. Лакеи впадали в транс и, уже не дожидаясь того, что им принесет телефонный провод, хрипели в заплыванную трубку:

— Да, да, еще не поздно, приезжайте.

Золотую известкой обрызгивал вылупившийся месяц белым каркасом затянутые мостовые. Но месяца не видели, предостережений месяца не чуяли. В часы месяца бегали к мраморной ванне, метались по скользким ступеням черной лестницы, писали прощальные письма с настоятельной просьбой никого не винить и все понять.

За безразличные тысячи верст лязгали вагоны: синие, зеленые, желтые; в зеркальные стекла сибирского экспресса глядели выжидающие своего праздника деревни. Точили топоры, копили злобу, в пьяном смрадном сне сжимали кулаки, пережевывая махорочную слюну:

— Погоди ужо, будя, будя...

В зеркальные стекла сибирского экспресса лицезрел я последнюю Россию. Для того, чтобы через неделю, из фронтонами загубленного особняка на Новинском, выйти с отращиванием к собственной оболочке, влезть на рябого чмокающего извозчика и поползти сквозь суетливую чванливую, пряником расписанную Москву — на Ильинку, где скопческие рожи и инородческие акценты предлагали заинтересоваться новым выпуском "Грозненская нефть — привилегированные"...

Стиснутые поясом площадей, обезображенные безжалостным солнцем, потели кремлевские стены. Как вековечный бродяга на казарменных нарах: своего особого, масляничного праздника выжидал и вековечный бродяга. Скоро, скоро в амбразуры кремлевских стен пролезут физиономии Лызи-совских детей.

А было:

— Ты, Никодим, ты, Сергей, ты, Кирилл, вы все обет примите духовный...

Едучи на Ильинку, я мог бы услышать перебои в ослабнувшем пульсе России.

Но крюшон из мраморной ванны, но неврастения, но "Грозненская нефть — привилегированные"...

Мне оставались девочки, девчонки...

2.

Говаривал Петр Федорович:

— Отец, меньше обобщай, больше суммируй и больше читай Гуссерля. Не беда — ездить к Гольденблату. Сие для денег, то есть для будущей независимости! Как Тарас Андрея предостерегаю тебя — сынку, погибнешь от женщин.

Ах, Петр Федорович, роковой мой Магомет из Толмачей!.. До суммирования ли мне, до чтения ли Гуссерля?!

Как пьяный гуляка, попал я на ярмарочную площадь с каруселью. Уселся на вертящуюся свинью, заиграла шарманка, закричали ребятишки: "Но... но" ..., зачмокали язычками... Мне отвратно... Тошнит, тоска, но что поделаешь как остановить карусель, жалко ведь обидеть ребятишек!..

Сын лекаря Санкт-Петербургской хирургической академии, недоучившийся студент Московского университета, голубоглазый юноша в бобровой, на шулерские деньги купленной шубе с клешом, робеющий герой с Ильинки... Я брожу по Страстному бульвару — и морщинистые девки в колениковом

белье, в грубых чулках фильдекосовых, хватают меня за рукава, гнусавят осточертевшую остроту:

— Блондин... угости шоколадом с усиками, поедем!..

Угощаю, еду... Так проще жить. В доме баронессы Нордманн, в конце Страстного бульвара, окна номеров выходят во двор. Стена в стену. Где ж тут солнцу заглянуть?.. Значит, можно солнца не стыдиться...

Петр Федорович! Первый мой мудрый учитель, каждый Нордманновский номер, каждый Нордманновский диван, каждый Нордманновский промокший клоповый матрац расскажут такие были, что если бы вы с вашим методологическим строгим даром занялись бы их систематизацией, собирали бы голоса Нордманновского инвентаря — получился бы Российский Гомер...

Я считал, я запоминал, но, как в иссякающей каменоломне, мелкими булыжниками осыпаются мои слова, и я жажду, жажду молчанья... Вчера в Нордманновский коридор дюжие швейцары вывели молочного студентика и собирались уже дубасить его за невзнос причитающейся платы. Я уплатил за него синенькую. Но потом, вернувшись в номер и вдохнув запах умывальника, матраца, тела моей дамы — рассвирепел,

и дама со Страстного бульвара не получила обещанных "на счастье"...

— Сволочь ты, кот, супник!

И еще многое, и плевалась, и всхлипывая, натягивала дырявые фильдекосовые чулки.

Петр Федорович! Восприемник Гуссерля и компаньонов Гольденблата, поняла ли она, что мшу я себе самому, за спасение молочного студента, за последнюю отрыжку дряни сердечной?

До потухания звезд, до утренней Авроры я шлялся по Нордманновскому номеру, Асморовскими окуривал умывальник, хотел писать стихи, хотел заказать портеру, но сел на подоконник, прильнул лбом к оттаивающему стеклу и ждал, пока воскреснет из мрака противоположная стена. Половой прибежал не раз и с тревогой справлялся, не нужно ли привести новую девочку. Трудно противоречить половому и я пошел на компромисс. Сняв сапоги, шлепая по коридору, пробрался к маленькому номеришке и наблюдал сквозь крошечную щелочку, как молодой армянин с толстым кадыком, сопя влезал на взвизгивающую кровать... Половому — трояк, мне — времяпровождение. Ибо бесконечная зимняя ночь и лишь в восьмом часу, свесившись над сходящимися крышами, малокровное утро возвратило мне противоположную стену.

Петр Федорович! Простите вашего питомца... Но вы не поймете, на Отцах Церкви вы не поспеете за вертящейся свиньей раскрашенной ярмарочной карусели... Я подымаю за своего первого учителя задравный, ночной кубок горечи, но отныне я клянусь не следовать более его советам...

Эвино! презренье, бесстрашие, новая нежность!.. За вином любовников следует вино не убивших и оттого томящихся убийц.

3.

Зимой одиннадцатого года, в разгар славянских трапез и общемосковского бум-бума, съездил я в Париж. Дел никаких не было. Преспокойно мог оставаться на Молчановке и

обжираться "Эрмитажными" завтраками. Но уж так подошло. От Ильинки и Страстного к горлу спазмы подкатили, запершило, закрутилось... Все ездят, поеду и я в Париж, посмотрю на французских женщин. Университет на Моховой заброшен, полюбуюсь на другой университет — Монмартрский.

Женщин французских увидеть не пришлось. Засасывал все тот же маховик: с утра мимо столиков в Cafe de la Paix циркулирующая жонглировала ножками, палантинами, автомобильными шинами, и, когда в полдень угловой ажан в обычном жесте подымал магическую палочку, площадь Оперы со щебетом, прибаутками, щипками заливали ажурные чулочки со стрелками, без стрелок, черные и mauve...

И девочки, девчонки заманивали растерявшегося москвича строгостью первоначального обращения, ласковостью последующих манер.

Нравилось мне в них то, чего не было, нет и никогда не будет в русских их коллегах. Полное отсутствие надрыва, слез, телефонных звонков назавтра, рассказов о загубленной жизни и красавце-женихе. Веселое, достойное ремесло... Улыбка, равноправность, исключительная опытность.

В Петровском парке, в "Мавритании" курносая пьяная Дунька и в пятом часу утра умудрялась потребовать "грушудюшес"; на Монмартре: у Монико, в Rat mort, в Pigall's, на авеню Мак-Магон, в укромных особняках, на перифериях, уходящих от Etoile царствовала спокойная профессиональность.

: Je fait tout mon mieux... Если ты джентльмен — сделаешь подарок, если нет — тем хуже для тебя. Но груши-дюшес отсутствуют. Этим товаром не торгуем.

Полюбовался я на живые картины, пересмотрел всевозможные позы, побывал на скачках и у Лаперуза. И... сознаться стыдно: заскучал... Великий пост, а грибами не пахнет, а колоколенки не звонят, а кухарки не ходят с лицами, опухшими от покаянных слез и казенного вина.

Страшная вещь — русская закваска. Трижды европеец, четырежды американец, переплыви моря, вскарабкивайся на горы, закупи все парижские банки... Суженого, ряженого... Подкрадется бес, деревенский, наш банный, тот самый, что с аршинным хвостом и запахом ржаного хлеба. Нашепчет ерунды, воспоеет хамство, в перл создания возведет Чуевский постный сахар! Прощай, циркуляция, бульвары, напиток касис-ситрон, ажан с палочкой и чулочки mauve...

С Молчановки писала горничная Феня, оставленная для присмотра за квартирой: "хватера в полном порядке, кроме того, что Петр Федорович заходят почитай кажное утро и о вас все спрашивают. Скучают они и серчают, что не едете. Письмов пришло множество, уж не знаю, как и быть, то ли пересылать, то ли нет. Да еще к святой прикажете ли окорок у Генералова заказывать и гардины снимать"...

В последний вечер захватил я двух девочек из Grand Cafe, поехал с ними на Монмартр. Еще раз все песенки выслушал, шариками в соседней пошвырял. Одна из девочек видит, что я скучный, не такой, как раньше.

— Слушай, ami, хочешь редкую штуку посмотреть?

— Что еще такое? Опять позы?

— Да позы, но какие?!

— Какие бы ни были, всякие видел.

— А мужчину с овцой видел?

— С овцой?.. Гм.. Этого я действительно не видел. Без обмана?

— Если обманом, не заплатишь.

Перед отъездом в Россию на такую диковинку посмотреть не мешает. Будет о чем Петру Федоровичу рассказать. У него хоть настроение и великопостное, и готовится он говеть, но выслушать выслушает с удовольствием...

Взяли такси и поехали. Далеко, чуть ли не у самого Sacre Coeur где-то на антресолях, в небольшой комнатухе с зеркалами по стенам, бляяла овца... А мужчина... На страшном суде засмеешься, вспомнив его идиотские вылупленные глаза. Овечьи глаза в сравнении с ними казались верхом сознательного страдания.

— Ну, что ami, понравилось?

— Да, спасибо, только почему у него глаза идиотские?

— Бретонские, ami, чистейшие бретонские.

В Vadeleine уже продавались фиалки, подснежники, мимозы. В поезде, пришедшем из Ниццы, на столах краснели букеты роз. В Толмачах, у квартиры Петра Федоровича, оттепель запрудила улицу, гололедицей опрокинула бочку ассенизаторов — и в доме все форточки были на затворе. Петр Федорович потолстел, голова его окончательно сравнялась с обточенной берцовой костью и полки раннего ренессанса вплотную обступили трехногую полотняную койку. В Толмачах диндинькала деревянная колоколенка. Мальчишки из серых пакетиков смастерили лодки и, по колена бегая в ассенизационной луже, налаживали судоходство.

— Что новенького, Петр Федорович, что веселого?

— Ох, много, отец, много. Перво-наперво смотри, какую я монографию о Пике Мирандолийском добыл, у Шибанова отбил. Редчайшая из редчайших.

— Да, интересная, хорошая монография.

— Ну, а в житейском, Петр Федорович, новости есть?

— Новости, говоришь?

Петр Федорович любовно гладит полуистлевший кожаный корешок.

— Да, новости, бывший патрон что?

— Бывший патрон? Что ж Осипу Эдмундовичу станется. Деньга к умному бежит, дурака обегает... Ты только полюбуйся, отец, на шриффт. Все загубил проклятый Гуттенберг.

— Петр Федорович, да вы слушаете меня или нет? Ирина Николаевна, как?

— В порядке, в порядке. Говорят, матерью скоро станет.

— Ма-а-терью?! От кого ж?

— Да от своего ж законного мужа. Дама с традициями, иначе не может, как не от мужа.

— Какого мужа, что вы бредите?

— Это ты, отец, бредишь, а не я. Оставь полку, оставь, поломаешь. Муж ее прежний.

— Петр Федорович, плюньте на полку, я вам новую сделаю. Имя, имя мужа?

— Да ты, Юрий Павлович, рехнулся или совсем не в курсе? За инженера металлургического, за Бачкарина, кто замуж вышел. Я ли, ты ли, Ирина ли Николаевна?

— Бачкарина, отвратительного толстяка, с которым она на бирже играла?

— На бирже играла — что правда, то правда, а насчет отвратительности брешешь. Очень обходительный человек. Такой мне уник подарил...

Завтракали, конечно, в "Эрмитаже". Фрак метрдотеля, изгибаясь в три погибели, расспрашивал о парижских новостях и с чарующей улыбкой предлагал новое крымское вино.

– Вы понюхайте, monsieur, запах один чего стоит.

Я нюхал и мне чудился запах Толмачевской желтой лужи.

Ночь проводили в "Мавритании" с "постоянной" Петра Федоровича – Марфинькой.. Зад Марфиньки, по словам Петра Федоровича, находка для гужевого транспорта. Она требовала "грушу-дюшес", меня заставляли что-то нюхать, трогать, пить. Мавританское зеркало, разбитое позпрошлой осенью младшим Выхухольским (за счет Гольденблата), мигало тусклой поверхностью, глядело на меня одутловатым молодым человеком с громадными голубыми глазами и бледными сжатыми губами.

Молодому человеку исполнилось двадцать четыре.

IX

ПЬЮ ЧАШУ ДО ДНА

1

Заговорили зовы прошлого – и всю жаркую, полыхавшую зарницами, осыпавшуюся звездами, июльскую неделю, я провел в бильярдной близ Трубы. Играли на интерес по крупной и в "русскую", и в "американку", и в "батифон". В полдень валились на диваны, закрывались газетами от мух и дрыхнули до сумерек, пробуждаясь лишь на момент, чтобы выпить графин ледающего кваса. Подвернулся на мое несчастье горбатенький доктор Нефедов-маньяк бильярда и ночной болтовни. Доказывал мне, что те, кто о самоубийстве много говорят, Мафусаилов переживают и разводят потомство Иова. Те же, кто молчок, у кого веселая улыбка и радужное настроение, зачастую с крыш бросаются. Слушал нефедовские речи и, обливаясь липким потом, поглощал крошку.

Маркер Семеныч частенько выбегал на улицу, собственно за папиросами и в ресторан, но кроме того приносил новости: на улицах манифестации, не то немцев, не то жидов собираются бить. Мы все отмахивались от новостей Семеныча, как от зеленатых разжиревших мух, что забирались в окрошку, в уши, в ноздри...

В пятницу ночью ворвался оголтелый гимназист, Нефедовский сын, и сообщил о мобилизации.

Послали в первый раз за всю неделю за газетами и почесали затылки.

Потом пошло известное под гору, вверх колесами. По вечерам останавливались трамваи на Арбате, чтобы пропустить стада воющих баб-проводяльщиц. Горничная моя Феня выбежала солдат поглядеть, а в ее отсутствие мое новое Делосовское пальто с вешалки свиснули и никелированные дверные ручки отвинтили.

Запахло сырым мясом, вчерашние разумники сегодня обесились и полезли на Пушкина разговаривать о духовном смысле войны. Новобранцы слушали и крепче сжимали в потных кулаках полученный у воинского харч: щепотку чая и два куска сахара.

Получалось: "оно, конечно, так, но кроме того вопче".

И вой, и вой, и вой...

Выли алые платочки, вырывая космы седеющих редящих волос. Выли шляпы с плерезами, спеша заказать форму сестры милосердной. Выли радикальные фельетонисты и обеспечивали себе отсрочку по отбыванию воинской повинности. Выли купцы в красных рядах, опасаясь, что залежится шелк и никому не понадобится "Лориган" Коти.

Приезжал и государь. Издерганный, жалкий, маленький.

Проехал мимо толпы, подергал лайковую перчатку и в свою очередь повыл.

А когда утихал вой и к Новодевичью подкрадывалась заря, с вокзалов – Брянского, Курского, Рязанского, Александровского – везли растерзанное пушечное мясо. В шести-местной молчащей каретке две-три ноги, две-три руки, пять-шесть глаз.

А когда розовел Новодевичий и улегалась пыль от кареток, из домов на Пречистинке, на Остоженке, в Арбатских переулках, вывалились толпы слезливых, всю ночь проспоривших о духовном смысле войны.

У Фени убили брата еще до конца июля. По этому поводу я вручил ей десятку на поминование души убиенного раба Кириллы и на двое суток лишился покоя. Завыла, заплясала кухня. Плакала с плясками, горланила со слезами, пила молча и жадно. На третий день Феня объявила расчет, заявив, что ей сподручней в милосердных сестрах.

У меня была первая льгота и пока что меня не трогали. На всякий пожарный случай я заручился соответственными поддержками. Выслушав двухмесячный вой, прочтя все фельетоны и все отчеты о торжественных заседаниях, я дал себе честное слово не принимать никакого участия в игре, угрожавшей оказаться длительной и безкозырной.

Как ни мало интересовала меня политика, я был достаточно раздражен, чтобы не подойти вплотную к чуждому мне делу. Разобравшись, я понял, что один рязанский мужик дороже всей "маленькой героической Сербии", что самый невыгодный торговый договор благоуханнее Хеопсовой пирамиды оторванных гниющих ног и что следовательно единственная стоящая вещь – постараться до конца остаться в стороне. Величественные обличения и туманные благоглупости столичной и союзной печати трогали меня не больше, чем упреки в дезертирстве. Печать – по выражению мудрейшего русского человека – это пулемет, из которого стреляет идиотический унтер. А дезертир – это я чувствовал сам, всей своей кровью – росток живой жизни, не желающий погибать и в дуновении арвийского урагана.

Если будут очень приставать, соберу остатки денег и уйду в Швецию, Норвегию или в т.п. страну.

Петр Федорович разделял мои взгляды лишь отчасти: лишь в отношении к самообороне. О смысле войны для России в его полированном черепе имелась целая груда извилистых незначительностей.

Гольденблат, с которым я столкнулся на одной из воющих прогулок по Тверской, расцвел еще пуще.

– Драгоценнейший юный Казанова! Вспомните, вспомните меня. Поработаем вовсю. Ах, дайте полгода срока, какие дела, какие нечеловеческие дела будем делать...

Он зачмокал, уронил пенсне, сел на извозчика и долго еще посылал мне радостные воздушные поцелуи.

И Гольденблаты оказываются пророками. Из-под кровью растворенных снегов Вольни, Подолии, Балтики вырастали изумительные подснежники в синих френчах, кожаных галифе, желтых крагах, с револьвером, свистком, "индивидуальным" пакетиком, с новым образом мыслей, с напроломным образом действий. Целый урожай еще невиданных деятелей. В курьерских поездах, на грузовых и гоночных машинах, вер-

хом и пешком заколесили по России молодые люди. Они понимали во всем — наиболее в качестве шин и огнеупорности кровельного железа, хотя до 1914 года они видели автомобили лишь издали, а железо на крышах. Их встретили свистками, ревом, облили интеллигентской грязью.

— Земгусары, земгусары!...

Они не смутились. Они знали, что грязь смывается еще легче, чем кровь. Еще никто не был убит смехом, еще никто не захлебнулся в потоках радикальных помоев...

Подснежники, подснежники... Подснежники на торцах Кузнецкого, подснежники в ухабинах степных провинций. И через год вся шестая часть суши покрылась густым ковром этих изумительных колючих подснежников... Они не только тянулись в высь, они прорастали в глубь, и из разбросанных семян, чудом жадности жить, вылезала новая Россия... Еще у колыбели мешочники, еще не содраны обивки голубых перво-классных диванов. Но полыхают зарницы.

Я выжидаю, я крепко сплю на Молчановке. Но я знаю: я уже не один. Мы перекликаемся разными голосами, может статься, мы еще наставим друг на друга пулеметы. Все равно: наши души вместе. Из питомцев зубного врача Гольденבלата выйдут деятели нашей русской Америки.

— Вы интересуетесь железом?

— Я интересуюсь всяким товаром, я покупаю все, я перепродаю все...

— Вы не боитесь продать ему муку? Говорят он переправляет ее через Швецию в Германию...

— Ах, дорогой, мне это так безразлично... Разницу — разницу... Самую большую разницу...

Новым воем, воем подснежников, от приснопамятного града Гапаранды до Ташкента и Мерва завоюет, шестая часть суши.

Мы не одни, мы не одни, нас много, нас много!

Му-жайтесь, му-жайтесь!

Стучат колеса, поют вагоны. Я опять и без конца еду.

Во Владивосток за американскими ремингтонами, в Гапаранду за шведской сталью, в Ростов за донокубанской мукой, в Ташкент за хлопком. Телеграфирую с каждой остановки:

”Купил, подтвердите двадцать пять процентов на фактуру”.

”Продал, подтвердите десять процентов на фактуру”.

Купить выгоднее, чем продать. Наилучшее припрятать, придержать...

И я: со свистком полированным, с револьвером Наган, с ”индивидуальным пакетом”, с малиновым звоном шпор.

”Земгусары”.

”Ловчицы”.

”Спекулянты”.

”Пир во время чумы”.

Ладно, ладно, скальте зубы, посмейтесь... Придет день: поскалите, посмеетесь...

Кувака... Кувака...

Кувакчут узловые, промежуточные, полустанки. И в са-

могонке сгоревший вохляк гнусавит:

В Куваке хоть упейся,

А сахарочку шиш...

А у нас сахарочек есть, а у нас сахарочку много... Но мы припрятали, но мы не смеемся, мы серьезные...

Мы — подснежники тихие... вроде анчара...

2.

Иногда приходила звериная скорбь.

В бессонные ночи, на верхней койке в купе, когда коридор лужгал семечки, доносился скверным неочищенным дегтем, хором матерщинных слов.

В пасмурные утра, когда затягивал свою арию вентилятор и жирной печатью замазывали газетные листы...

В воскресные отдыхи, когда белым-красным, от раненых и сестер милосердных зацветал Пречистенский бульвар...

В часы разговоров о ”должны победить”. Почему ”должны”? Неизвестно.

И клевала, выклевывала мой влачащийся труп скорбь. Скорбь была миллионоглавой пьявкой. Главы — убитых, и питались кровью их же. Высасывала под Праснышем и Саракамышем, под Луцком и Двинском, одной из голов залезала на Молчановку, подговаривала грязно-серую мышку в ночи промчаться напоминанием об ускользающем, невозвратном...

А в театрах уже играют не то восемь, не то десять гимнов, а ветчина уже два шестьдесят... Припрятаваю, перепродаю, путешествую.

А Москву беженцы съели. Котелок привислянский вытеснил старообрядческую, скопческую рожу. На Ильинке не толпишься. Работают локтями: в спину, в бок, в шею.

— Спешите, спешите, внимание, внимание. У меня есть товар.

— Отойдемте на минуточку.

Глава пьявки оборачивалась котелками; как кролик завороченный, лез я на котелки, и кровь моя перекачивалась в них, я падал, я изнемогал. По жилам вместо крови жеваными комками толкались сотенные бумажки. В мозговых извилинах залегли займы, акции гранатных, консервных и всяких иных на оборону.

Ирина Николаевна? Как-то встретил ее, не на улице, не в театре, на вокзале. Уехала с мужем на Урал, закупать на месте кровельное железо.

— Работаете?

— Работаю.

— А вы?

— И я слава... Богу.

— Ну-ну, увидимся, увидимся.

Муж Ирины Николаевны считался уже одним из первых богачей-нуворишей. В конце шестнадцатого позволили они себе роскошь: завести второго ребенка. Ребенок получился, а Ирина Николаевна от родильной горячки умерла. Говорят, в бреду все голосила:

Кувака, ты кувака,
Воейковская вода...

Запомнился мотивчик. Венка я не возлагал. В день ее похорон находился в Златоусте, покупал ножи, ножницы, вилки. Да, умерла Ирина Николаевна, а мы ездим, ездим. Слава Богу, стучат колеса, воют вагоны, в случае чего любой стон заглушат.

Кувака, ты Кувака...

Кувакчим, кувакчим! Грех жаловаться...

Дни выдавались — ну и дни! Не передохнешь, где уж тут об обеде, ужине разговаривать. В семь утра на Брянский, подталкиваем вагоны с сахаром. Позже приедешь — неловко со старшим помощником разговаривать. Толкотня, запросы — не пообещаешь. К девяти — Ильинка. На Ильинке у Сиу — принять коносамент, в Международный — инкассировать; на биржу — к одиннадцати. В половине первого в "Метрополе" ждут какие-то толстые. Говорят по-русски с немецким акцентом. Приезжие из Стокгольма. От них к Гольденблату насчет акционирования его консервной фабрики. В пятом — в Москвотоп, пощупать, нельзя ли уголька по твердым, на товарищеских началах. За двадцать минут до восьми — на Николаевский: завтра утром в Петрограде важнейшее заседание с англичанами из Торговой Палаты.

Обедаю в вагон-ресторане. Две сестренки милосердные лет по семнадцать все платки роняют. Что ж, познакомиться можно. Выберем в знак памяти рабы Божьей Ирины блондиночку. Двадцать пять рублей оберу: пожалуйста отдельное купе!

— Ты с фронта?

Она смеется:

— Что, заразиться боишься?

Интересно: будь Ирина Николаевна моей женой, осталась бы она жива или такая уж судьба. Инженер (рассказывали на Ильинке) сошелся с Шуркой-зверьком и ездил с ней в Питер покупать дом на Каменноостровском.

Венков просят не возлагать...

... У Гостиного Двора окликнули. Слез с извозца, вижу приятель из бывлой Гольденблатовской шати:

— Слышали, слышали, Колечка-то Колчеданов Мясовым агентом оказался!

— Что ж, повесили?

— Натурально. Зайдем посидеть, позавтракать.

— Некогда, ни минуты нет.

— Хоть в Квисиссану?

— Не могу, в банке ждут.

Голова горела от вчерашней московской суетни, от ночной поездной любви. Нагнулся и горстью снега обтер виски.

— Езжай быстрее.

По Михайловской гнали новобранцев. Угреватый парнюга, размахивая багровыми лапами и не попадая в шаг, горланил в одиночку:

Чаяк у нас китайский,

А сахарочек свой,

Пей чаю, сколько хочешь,

А сахарочку шиш...

Гной пополам со снежной сукровицей сочился с тротуаров. В потемках сшибались постромками парные выезды. В воздухе висел мат нескончаемый.

(Продолжение следует)

В издательстве «Третья волна» готовятся к печати следующие книги:

«РУССКИЕ ПОЭТЫ НА ЗАПАДЕ». Антология современной русской поэзии.

ок. 230 стр. \$ 10.00

АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР. «РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ НА ЗАПАДЕ»
Сборник статей о творчестве художников-нонконформистов. Издание иллюстрировано.

ок. 280 стр. \$ 17.50

**СТАРЕЙШАЯ В МИРЕ И ЕДИНСТВЕННАЯ В ЗАРУБЕЖЬЕ
РУССКАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА**

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

Главный редактор АНДРЕЙ СЕДЫХ.

**Информация, политические статьи, материалы Самиздата, экономика, наука.
Статьи о театре, кино, музыке, живописи, рецензии на новые книги.
Повести, рассказы, стихи, документальные и исторические очерки,
путевые заметки.
Новости спорта.**

**В каждом номере — множество снимков, получаемых от крупнейшего в мире
информационного агентства «Юнайтед Пресс Интернейшенал».**

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:

Ежедневное издание

На год — 80 долларов

На 6 месяцев — 45 долларов

На 3 месяца — 29 долларов

На 1 месяц — 10 долларов

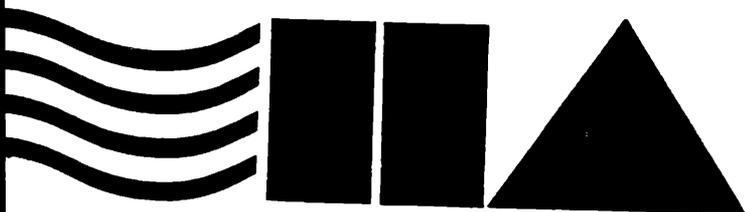
Воскресное издание только

На год — 30 долларов

На 6 месяцев — 17 долларов

Адрес: Novoye Russkoye Slovo.

519 8th Ave., New York, N. Y. 10018. Тел.: (212) 564-8544.



Подробнее ознакомиться

с новым "НА"

можно

заполнив купон:

**ПРОШУ ВЫСЛАТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
«НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ»**

ПО АДРЕСУ (по-английски печатными буквами):

ИМЯ И ФАМИЛИЯ _____

АДРЕС _____

продление полнски

Цена подписки на год в США — \$ 40

на шесть месяцев — \$ 26, на три месяца — \$ 14

в Канаде — \$ 45 (американских)

в других странах — \$ 65

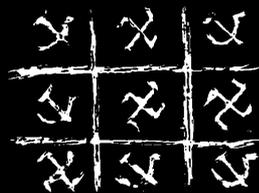
Авиационная посылка — \$ 145

Заполните и пошлите бланк с чеком или мани-ордером по адресу:

The New American
SUBSCRIPTION DEPARTMENT
80 Grand Str.,
Jersey City, N. J. 07302

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ТРЕТЬЯ ВОЛНА»
предлагает

1939-1941



СОВЕТСКО-
НАЦИСТСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
ДОКУМЕНТЫ

О пакте между Сталиным и Гитлером известно всему миру, известно о нем и советским людям. Однако все документы, касающиеся советско-германских отношений 1939-1941 годов до сих пор засекречены. Советские историки к ним не допускаются. Об этом периоде не пишут, словно его и не было. На него наложено партийное табу. Почему? Ведь советско-германское соглашение было опубликовано в советской прессе тех лет. Да, это так. Но ведь наряду с обнародованным пактом были подписаны и всякого рода секретные соглашения о разделе мира, разделе сфер влияния между СССР, гитлеровской Германией, Японией и Италией. Вот эти соглашения и поныне в СССР закрыты для исследователей. Читатель книги "Советско-нацистские отношения" легко поймет почему руководители СССР так страшатся публикации этих взрывоопасных документов.

Эта книга документов, необходимая каждому серьезному исследователю, изучающему историю советско-германских отношений и историю СССР в целом, читается в то же время, как увлекательный роман, в котором не счесть сюжетных поворотов, рискованных авантур, закулисных интриг, конечным результатом которых стала самая чудовищная доньяне в истории человечества война.

Нью-Йорк, 1983, 350 стр. \$25.00

Чеки и денежные переводы
просьба направлять по адресу:

RUSSICA BOOK & ART SHOP, INC.
799 Broadway, New York, N. Y. 10003. U.S.A.

Просьба добавлять 1 долл. за каждый первый и 50¢ за каждый последующий экземпляр на пересылку.
К жителям Нью Йорка просьба добавлять 8%-й налог к стоимости заказа.

Вниманию лиц, проживающих за пределами США:

«Руссика» принимает оплату только в виде
Международных денежных переводов
в долларах США.

Дася Шаляпина-Шувалова

МОЙ ОТЕЦ — ШАЛЯПИН

СЕН-ЖАН ДЕ ЛЮЗ И СОСТЯЗАНИЯ КВЕРХУ НОГАМИ

В 1928 году в Сен-Жан де Люз, километрах в десяти ниже Биарриц, отец выстроил виллу. Большую дорогу виллу. Строил ее по своим планам и по вкусу отца архитектор Дитик Каменка. До этого мы около года снимали виллу, но затем родителям, особенно отцу, непременно захотелось иметь свою, которую и воздвигли в Сент-Барб, так называлась одна из окраин Сен-Жан де Люза. Вилла вышла действительно на славу, да и вообще, все сенжанделюзовское время было восхитительным.

У нас уже существовала Изотта и ухажер-шофер, на кухне работал Микадзе, за мной ходила милейшая Лиза, при отце находился Шестокрыл-Коваленко, приживал какой-то еще Ефим, словом, было многолюдно и симпатично. Вилла стояла на пригорке со свинцово-солнечным видом на океан, а перед ней шла трамвайная линия из Сен-Жан де Люза в Биаррицы. С лязгом и скрипом трамвай проходил каждые двадцать минут. Трамвайная мелодия была единственным недостатком виллы, с которым все охотно примирились за ее другие достоинства: местоположение, размер, стиль. С одной стороны трамвайных рельс шла узенькая тропинка, так, что когда трамвай спускался в город, нужно было становиться боком, чтобы он не задел, так как тропинка срезалась обложенной цементом канавой, по которой стекала вода. По другую сторону рельс был крутой и большой обрыв. Главная же дорога к вилле находилась чуть дальше и шла в обход и, само собой разумеется, никто по ней не ходил, шли по тропинке и, как правило, неизбежно валились в канаву! Все по очереди — от отца до меня, и мы со злорадством поджидали — чья будет очередь. Единственным не павшим был повар Микадзе. Он, наверное, обладал природным кавказским чувством равновесия. У нас даже создавалась специальная загадывательная игра — каждый загадывал: когда же упадет Микадзе. Но Микадзе не падал, он был так же тверд на ногах, как на своем поварском пьедестале.

Кто только не перебивал на вилле в Сен-Жан де Люз! Приезжал, например, такой Бранкузи, теперь ставший очень знаменитым скульптором. По происхождению он был румын, по профессии (унаследованной) — пастух. На родине пас семейное стадо овец и сам выучился читать и писать. От нечего делать начал лепить своих овец и, надо полагать, довольно успешно, потому что его заметили, восхитились и устроили ему поездку в Париж. В "городе света" он сразу же перезнакомился со всеми тогдашними — да и теперешними — знаменитостями: Пикассо, Шагалом, Браком и другими. Правда, в Париже он сразу же приспособился к царившему тогда в этом художественном центре художественному "амбьянсу", перешел на абстрактную скульптуру, лепил такое, что никто ничего понять не мог, но все в один голос признали его гением. Окончательно укрепила его в этом звании его "Птица в пространстве". Скульптуру я видела, но почему "птица" и при чем "пространство", никогда не могла понять. Не знаю, был ли Бранкузи в сенжанделюзовское время уже гением, но оригиналом был безус-

ловно. Он рассказывал, как воевал с американскими таможенниками за то, что те... отказались взимать пошлину за его произведения, не имея силы причислить их к произведениям искусства. Он же настаивал и кричал: "Берите, перед вами величайшее искусство!" Он был шатеном, носил бороду и на плече деревянный крест, сколоченный из упавшего телеграфного столба. Поигрывал под Христа: "Взгляните на меня: чем я не Иисус Христос? Пасу овец, несу крест, в обхождении прост и душой к Богу близок!" У нас он прожил около недели, все им забавлялись и все его любили.

Затем вспоминается — он уже, бедный, давно умер — американец Морис Гест. Был он из компании Шуберта и Зигфальда, только думаю, что грешил опиоманией. Во всяком случае, его любимым занятием было изображать курящих опиум китайцев. Наверное, поэтому я и решила, что он и сам не безгрешен. Он тоже какое-то время жил у нас и регулярно, после каждого обеда повторялась все та же сцена: Гест притворялся китайцем, принимая соответствующую позу и делал вид (только ли вид?), что курит опиум. Мы должны были смотреть, восхищаться и аплодировать. Отец его очень любил и искренне аплодировал.

Заходил к нам "на огонек", и С.С. Прокофьев. Его я помню очень хорошо. Было ему тогда лет сорок. Лысый, курносый, сговорчивосимпатичный. Вообще, все приезжавшие или проезжавшие знаменитости считали за долг и за честь побывать у Шаляпина, заехать на нашу виллу. А Шаляпин был только рад. И кого только я там не перевидела! И Яшу Хейфица, и Мишу Эльмана, и Антона Рубинштейна и еще и еще! Всех даже и не припомню. Неподалеку от нас жил Клод Фарер с женой Генриеттой Петровной. Он пил тенором, а она гремела басом. Мы же забавлялись, слушая их. Таков был наш Сен-Жан де Люз, наша милая вилла на Сен-Барб со свинцово-солнечным видом на океан.

Апофеозом всего этого "амбьянса" был день, точнее, ночь, когда родители пригласили к нам принца Уэльского, будущего английского короля Эдуарда Шестого со всей его свитой: сэр такой-то, леди такая-то и так далее, словом, почти прием в Букингемском дворце! Среди приглашенных был Чарли Чаплин с тогдашней (кажется) его женой Мэри Пикфорд, французский скрипач Жан Тибо и прочая, и прочая, и прочая. Все были приглашены на шаляпинскую виллу, на шаляпинский обед. К этому времени для детей и для прислуги был куплен маленький флигель в саду, где я и жила. Так что на торжестве я не присутствовала, было лишь разрешено появиться, показаться, сделать принцу Уэльскому низкий книксен и сразу же убраться к себе. Но шум от главной виллы шел такой, словно праздновал победу гусарский полк! По-английски отец не говорил, но принц прекрасно знал французский, и разговор шел на все темы и всюду. Как мне потом рассказывали "свидетели", ели и пили на славу, веселье стояло необычайное и — ни о каком этикете речь не шла. Все чувствовали себя действительно, "как дома". Но этого оказалось мало: встав из-за стола — по чьей инициативе, не знаю — решили устроить настоящее состязание: кто лучше и дольше всех простоит на

голове! Все встали на головы — грешным делом, думаю, что большинство только пыталось встать — и победителем оказался Чаплин, в силу своей профессии бывший превосходным акробатом. На этот раз он побил даже Фербэнкса! Да, перед "кверху ногами" все выпили "на ты". И вот представьте себе картину: все кверху ногами и все "на ты" — от принца Уэльского до хозяина дома! Разве не картина? Разве в шалашинском доме не умели веселиться?!

Наконец, часов около трех, я услышала шум моторов и поняла, что гости начали разъезжаться. И действительно, очень скоро наступила тишина. И вот тогда отец, мучимый жаждой, спустился в кухню достать себе из ледника бутылку пива. Каково же было его изумление, когда он обнаружил на кухне наследника британского престола! Он почему-то замешкался с отъездом и, как и отец, пошел на кухню чем-нибудь промочить горло. Они открыли ледник, достали пива и, кажется, просидели так еще несколько часов. Где в это время находилась свита — скрыто мраком неизвестности. Уехал принц уже на рассвете.

Да, это была самая радужная пора моей тоглашной жизни. Особенно вспоминаются мне пикники, в большинстве случаев приурочивавшиеся к одному из моих трех рождений. Недавно какое-то радио рекламировало пикники теперешние: не нужно никаких приготовлений. Все необходимое продается в специальных магазинах, от консервированной индейки до пластиковых ножей и вилок. Никакого труда для хозяек дома, но и никакой поэзии! В "шалашинское" время это было не так, еще здравствовала вся пикниковская культура. Бралась огромная скатерть, фарфор, хрусталь, серебро. Закупалась провизия, которая потом превращалась с помощью поваров и костра в изысканнейшие блюда. Все это грузилось в Изотту, вместе с нами, с Микадзе и поваренком. И вот мы отбывали в Сен-Жан-Пье де Пор, то есть вглубь страны, в Пиренеи. Там были горы, сосны, папоротники и мохноногие. Высматривали там живописную полянку и начинали устраиваться. Но почти всегда, когда весь базар уже был выгружен, поваренок раздувал огонь, а увенчанный белым колпаком Микадзе воровил над бараньей ногой, отец, уже устроившийся на облюбованном им месте, вдруг преспокойно заявлял: "А знаете, мне кажется, что здесь немного дует, да и вообще не очень красиво, не поискать ли дальше, спешить-то ведь некуда?" И все снова сворачивалось, заворачивалось, гасилось и грузилось на автомобиль, и мы ехали дальше, и так до тех пор, пока не находилось места, где было и солнце, и тень, и хороший вид, и ниоткуда не дуло, и ни к чему нельзя было придраться. И вот тогда начинался настоящий лесной пир, уже не прекращавшийся до самого вечера, когда становилось "холодно и начинало продувать". Завершался же пикник арбузом, то есть как у итальянцев, где все с арбуза начинается и арбузом кончается.

Помню, как однажды отец взял меня с собой купаться. Это было в конце сенжанделюзовского пляжа, и там почти никого не было. Мамуле сказал: "Не беспокойся, Маша, я беру Даську с собой". Он хотел научить меня плавать, но плавать я уже умела, будучи обучена моими сестрами и самым сильнейшим способом — они бросали меня в воду и требовали: "Теперь плавай!" Ну, я и заплывала.

Раз я умею плавать, отец сразу же придумал другую забаву: мы прошли до конца шлюза, отец разделся и, оставшись в одних кальсонах, приказал раздеваться и мне. Но у меня не было купального костюма, и я немного смущалась. "Велика беда? Теперь вечер, плохо видно и кругом никого

нет". Я разделась, мы полезли в воду и хорошо поплавали. Потом вышли на берег, снова забрались на шлюз, и там он говорит: "Теперь садись мне на плечи, будем вместе прыгать в воду". Прыгал же он по-русски — ногами вниз. Лезть было страшновато, но я полезла, и мы прыгнули, было много плеска и очень весело. Но сам он умел нырять и головой вниз, делая перед этим забавные жесты: становился смиренно, складывал руки ладонь к ладони (словно молился Богу), потом вытягивал их сложенными вперед и бросался вниз, уже головой вперед. Надо думать, что так ныряют в России. А когда плавал — тоже, наверное, по-русски — делал все движения с неимоверным шумом, вытягивая из воды руки и изо всей силы молотил ими по воде перед самой головой: бац! бац! бац! Теперь это, кажется, называется австралийским кролем. Руки же почему-то все время дрожали, что должно было отнимать массу энергии, но, наверное, так "энергично" плавали на его родной Волге.

Вернулись, конечно, поздно, мамуля, конечно, волновалась и, конечно, от нее влетело: "Как можно так долго!" Когда же я рассказала, что мы делали и как вместе плавали и ныряли, она не на шутку рассердилась: "Да ты с ума сошел! Кто же так с детьми-то! Ребенок-то мог утонуть! Ты бы и не заметил!" и дальше, и дальше. Но, как оказалось, я не утонула, и от нашего совместного купания у меня осталось чудесное воспоминание.

Такое же яркое пятно осталось у меня и от нашего с отцом кутежа. Самого настоящего ночного кутежа. Но только это случилось в Париже, и если я о нем рассказываю, то потому, что этот ночной кутеж и то вечернее купанье — мои самые нежные воспоминания об отце, и живут они в одном и том же закоулке моего сердца. Мне уже шел пятнадцатый год, и отец, чтобы отшлифовать мое "светское" воспитание, решил повести меня в настоящий кабац с цыганами, девочками, шампанским, коньяком и всем прочим. Пора Дасе узнать и такую жизнь. Мамуле же было заявлено, что мы идем в ресторан, там поужинаем и вернемся, чему мамуля даже обрадовалась — слава Богу — меньше хлопот! Мы, действительно, сначала пошли в ресторан "Эскарго", что находится возле Центрального рынка и который, кстати, очень высоко оценил в один из своих заездов в Париж Евтушенко. Мы чудесно там поели — весь фольклор французской утонченной кухни, вина и коньяки. Но домой из "Эскарго" мы не поехали, а отправились в настоящий ночной кабац, "Ночную коробочку". Там опять шампанское и коньяк, танцы каких-то голых девиц, какие-то песни и номера, словом, все, что полагается парижскому ночному кабаку. Для меня все это было незнакомо, восхитительно, захватывающе. Никогда до сих пор я так не проводила время. Домой вернулись между часом и двумя утра. Конечно, надеялись, что мамуля спит и откроет кто-нибудь из прислуги, так как отец почему-то не взял ключа. Затая дыхание, подошли к дверям и тихо, тихо позвонили. Дверь сразу же отворилась, и перед нами возникла мамуля, полная решимости и гнева. Она с десяти часов нас ждала, не спала и волновалась. Как объяснил отец наш ночной поход — не знаю: наскоро попросившись, я сразу же ретировалась в свою комнату. Но отцу, наверное, здорово досталось. Но чем человек не платит за свою мечту? А у него была мечта: сводить Даску в ночной кабац и там с нею погулять.

Ночной кабац и вечернее купанье... Два наших выхода, два наших бегства, когда мы по-настоящему были близки друг другу, по-настоящему жили одной и той же жизнью, без родственников, друзей и приживалок, которые вечно шмыгали

между нами, становились экраном между мной и отцом. Это, кажется, были единственные случаи, когда я его не боялась и чувствовала в нем спутника и друга.

МОЙ ДОН КИХОТ

Насколько мне помнится, Дон Кихота отец пел после нашего возвращения из Буэнос-Айреса. Всем почему-то взбрело в голову поставить Дон Кихота с Шляпиным. Ставил знаменитый Пабст с участием Залкинда и брата Федора, почему, уж не знаю, заинтересовавшимся фильмом. Отец, как я уже, кажется, говорила, кинематографа не любил и, кроме, как на Чаплина, ни на какие фильмы не ходил, словом, глубоко презирал этот вид искусства, не находя в нем никакого искусства. Но как-то все же уговорили. Но теперь нужна была музыка. С оперой Масне проектируемый фильм не мог иметь ничего общего, и нужно было, чтобы кто-нибудь написал музыку, чтобы отец мог петь. Решили обратиться к Равелю, но тот заломил такую цену, что от его услуг пришлось отказаться. Тогда обратились к другому французскому композитору — Жаку Иберу — который не только с радостью согласился, но заявил, что ради такой высокой чести — писать специально для Шляпина — напишет музыку даром. Съёмки проходили на юге Франции: в студиях, в Ницце, а экстерьеры возле Грасса, чуть выше города, где масса цветов и, конечно, пчел и этих южных сухих колючек, кстати, очень декоративных. Куда ни ступишь, на что ни сядешь — все "ай!". Словом, ужас, я их смертельно боялась, хуже мохноногих, те хоть и шкодили, но больно никогда не делали.

Мы жили внизу, в Ницце, в отеле "Моборон", где в то время проживала забавная пожилая особа, называвшаяся Капитолина Макарова, вдова знаменитого адмирала Макарова. Она была строга и бонтонна, и было ей уже под девяносто. И вот отец начал премило за ней ухаживать — и ручки целовать, и ножку жать, и подмигивать, и в щечку целовать, и называл ее "моя Капитолинушка". Она страшно возмущалась и отвечала: "Федор Иванович, я вам не Капитолинушка". Словом, делала вид, что безумно шокирована и что Федор Шляпин ведет себя с нею, как настоящий "парвеню", суший скандал!

Насколько мне помнится, в студиях, в Ницце, отец почти не играл, зато в горах, над Грассом, он участвовал почти во всех сценах. Нашли там даже настоящую ветряную мельницу, такой же важный для картины "персонаж", как Санчо Панса и сам Дон Кихот. Мы тогда же переехали в Грасс. Город очаровательный: зелень, цветы, фиговые деревья — влезай и ешь, сколько хочешь. Но вот, полно пчел. Просто катастрофа. Я их дико боялась и орала при одном их появлении. Кстати, не было, кажется, ни одного человека в моем окружении, кого бы пчелы не ужалили. Ведь их было так много, что на них часто садились.

Немного позже и как раз возле мест, где снимали фильм, нашли какой-то заброшенный дом, двухэтажный, с балконом. Вспомнился он мне потому, что там случилась очередная история с Михаилом Шестокрылом-Коваленко. Чем-то он не угодил отцу, то ли огрызнулся, то ли подал не то, что тот попросил, словом, отец вспыхнул, как порох и, впад в настоящую ярость, схватил Михаила за костюм и вышвырнул с балкона в траву. Несчастный Михаил не на шутку разобиделся, поднялся и заковылял в Грасс, а оттуда пешком в Ниццу, так что мы его какое-то время не видели.

Фильм ставился в двух версиях: французской и английской, отец пел на двух языках, но Санчо Панса было два, французский и английский. Французского играл милейший и знаменитый Дорвиль, а английского — Роби, но осел у них был общий, — расходы были немалые, и нанимать второго осла было дорого. Так же обстояло дело и с лошадей: Россинант был один.

Осел очень полюбил Дорвиля и ходил за ним, как собака. На самом месте съёмок устроили из палаток что-то вроде кафетерия. И вот придет Дорвиль выпить стакан пива, а за ним осел, остановится и ждет, а потом снова за ним. Потом, когда съёмки кончились, Дорвиль забрал осла себе, так он у него и окончил свою жизнь. А Россинанту мазали черным ребра и в таком виде принимал он на себя отца, который, к слову будь сказано, верховой ездой никогда не занимался и ездить на лошадях не умел. А теперь ему приходилось взгромождаться на бедного Россинанта в тяжелых доспехах, с копьем и щитом, так что под конец ребра у лошади появились натуральные и рисовать их уже не приходилось. Дело ведь было летом и жара стояла тропическая.

Больше всего раздражала отца сама процедура, точнее техника, съёмок: только он войдет в роль, начнет петь, как кто-то кричит "купе" (то есть — "остановите"). Он протестовал, доказывал, что ничего путного нельзя сделать, если картина должна состоять из сшитых вместе кусочков. Больше всех доставалось Пабсту, как верховному руководителю. Его уговаривали, объясняли, что кинематограф не имеет ничего общего с театром, что здесь совершенно другая техника, он злился, ничего не понимал (или не хотел понимать), но все же смирялся — приходилось. Думаю, что больше всего его возмущало, что здесь ему приходилось слушать и подчиняться, тогда как в театре, на сцене, все слушались и подчинялись ему. В конце концов, фильм закончили и он оказался очень хорошим, но вот как-то не пришелся по вкусу, может быть, был слишком для фильма растянут, может быть, началась новая мода. Так или иначе, продавался он очень плохо и денег не принес никаких никому. И даже отцу — вещь небывалая — не заплатили ни сантима! Стоил же фильм дорого — одни сцены с отцом снимались больше двух месяцев.

Зато Дон Кихот оказался отличной свахой: моя полусестра Стелла познакомилась на съемках с Жаном де Немюром, который был каким-то там ассистентом и через два года на ней женился. Потом, продолжая работать в кинематографе, он стал постановщиком и режиссером. Федор, который дублировал отца во всех более или менее опасных эпизодах, влюбился в Дульсинею и женился на ней, но в противоположность Стелле, не надолго. Дульсинею играла совсем неизвестная актриса: пухленькая хорошенькая алжирская еврейка, ее имени я уже не помню.

Вот и весь мой Дон Кихот.

"Я ЦАРЬ ЕЩЕ!"

Отец серьезно заболел после поездки в Японию. По всей вероятности, болезнь его началась даже раньше, но мы об этом ничего не знали. Из Японии мы вернулись в мае 1937 года. Отец вернулся немного позже, так как он остался на несколько дней в Токио напевать пластинки и на обратном пути с той же целью заехал в Нью-Йорк. В Париж он вернулся усталым и необычно бледным. Вдобавок у него еще появилась какая-то

шишка на лбу, посередине лба. Она его сильно смущала, но он старался отшучиваться: "Еще вторая, и я буду настоящим рогоносцем!" Доктор тоже почему-то решил ее не вырезать, быть может, надеялся, что рассосется, быть может... но я точно не знаю.

Настало лето. Я уехала в мой любимый Сен-Жан де Люз, а родители поехали в Австрию, под Вену, на какой-то там курорт. Отец вообще каждое лето на месяц отправлялся на этот курорт немного подлечиться и набраться сил и, как рассказывала мамуля, действительно старался этот месяц вести себя образцово, не пить, не курить и не предаваться вообще никаким излишества. На этот раз курорт ему не помог, и когда осенью пришлось ехать в Англию — он должен был там петь два или три концерта — он отправился туда по-прежнему очень усталым. Когда же он вернулся в Париж и показался нашему домашнему доктору, очаровательному Жандрону, тот не на шутку перепугался и решил, что надо вызвать знаменитого Абрами, так как нужно срочно принимать какие-то меры. Было это в октябре-ноябре. Точно уже не помню.

Абрами осмотрел отца, но как и Жандрон, определенного диагноза поставить не смог, но что-то нехорошее, безусловно, почувствовал и сказал, что хочет посоветоваться с известным специалистом по крови, профессором "Х". Фамилию профессора я, к несчастью, забыла. Профессор пришел — очень хорошо помню этот день, так как все мы были дома — осмотрел отца, ничего не сказал и взял на исследование кровь. На следующий день, когда анализ был сделан, он вернулся, отозвал мамулю в сторону и сказал, что у отца лейкомия, белокровие, что сделать ничего нельзя и что жить ему осталось месяца четыре, от силы пять. Сказал еще, что это очень редко бывает у людей старше шестидесяти лет (а отцу было уже шестьдесят пять), но вот случилось, и ничего сделать нельзя. Все же велели делать переливания крови. Нашли, как теперь говорят, "давателя", некоего француза по фамилии Шьен, что в переводе на русский означает — собака. Не подозревавшего о страшной болезни отца эта "собака" очень забавляла и чуть ли не до последних дней он шутил и острил, что в конце концов "залает, как собака".

Но нам было не до шуток. У отца белокровие! У такого здорового человека, настоящего богатыря! Да и сам профессор подтвердил, что случай с отцом в его практике первый: такое богатырское сложение и — лейкомия, да еще в таком возрасте!

Вот так и началась болезнь, то есть, для нас началась: видимо, ощутимо и безнадежно. Отец уже больше не выходил, лежал или сидел в своей комнате, иногда надевал халат и приходил к нам. Чувствовал себя все хуже и хуже. И так изо дня в день. Подходило Рождество — до сих пор помню и не могу себе простить — я развешивала по стенам очень декоративные, колючие, зеленые листики с красными ягодками, а он сидел в кресле и все критиковал: "Не так, да не так! Повыше. Нет, пониже. Теперь вправо. Нет, влево!" "Да как же, наконец?" И снова: "Пониже, повыше. Вправо, влево. Э, бездарность!" Я не выдержала, разозлилась и даже ногой топнула, и все бросила на пол: "Не так, делай сам!" И ушла к себе. А отец только от удивления даже слова сказать не смог, только рот раскрыл: так это было необычайно — я посмела на него накричать! Такого никогда еще не было.

Так прошло Рождество. Ему становилось все хуже и хуже. Он почти не вставал, а в марте уже совсем не вставал и умер двенадцатого апреля.

Самое страшное заключалось в том, что о его болезни знала вся пресса, а за несколько дней до смерти возле дома, на

крыльце, около самых дверей день и ночь дежурили журналисты, а радио — и не только французское, но и английскийское Би-Би-Си — не переставая передавали "Шалапина" и непременно "Смерть Бориса Годунова". В день же смерти журналисты уже ворвались в дом, облепили лестницу, сидели на балконе, и ничего нельзя было с ними сделать. Пришлось даже пригласить полицейского в штатском, чтобы он следил за всей этой компанией: мало ли кто мог протиснуться под видом журналистов! Могли и обокрасть. А радио все передавало "Шалапина". Потом начали передавать молитвы о нем по-французски и по-английски. И снова "Смерть Бориса". Конечно, радиоприемник стоял в одной из наших комнат, и мы могли его выключить. Но что-то нас останавливало. Наверное, нас трогала солидарность, словно все слилось в одно сердце и в одну душу. Торжественная и страшная солидарность. И все время "Смерть Бориса": "Я царь еще!"

Три-четыре часа дня. Все были в сборе. Все в его комнате. Доктора — Абрами, Жандрон, Борис, Татьяна, Лидия, Марфа, мамуля и я. Марина была где-то в Италии, и мы никак не могли ее поймать и оповестить. Ире звонили в Москву, и она ответила: "Сейчас же еду." Сказала, что ей сразу же дали визу и все нужные бумаги. Но на границе ее задержал советский пограничник и сказал, что виза не годится, что надо подождать, но через неделю все будет устроено и она сможет поехать. Через неделю! А пока ей пришлось возвращаться в Москву. Так ее никогда больше и не пустили, что, впрочем, совершенно нормально. При жизни отца Ирина — так они, наверное, думали — еще могла как-то им пригодиться, могла повлиять на него, уговорить вернуться. Кстати, она два раза и приезжала к нам в Париж. Теперь его не стало, и уговаривать было уже некого, и Ирина стала им не нужна. Вот ее и не пустили: чего доброго, уедет и не вернется. Новый скандал.

К самому концу все словно ускорило. Помню, как вошла гувернантка, которую не терпел отец, и как он прошептал: "Уберите ее", и мы постарались мило ее убрать. Из посторонних остался один доктор, и я ему помогала делать впрыскивания в вену, которую он с трудом находил. А тут все поочередно падали в обморок, то Таня, то Лида, то кто-нибудь еще. Лишь мамуля умела держать себя в руках. Она вообще была не только очень твердой женщиной, но и не любила показывать свои переживания: они были ее личным делом.

Уже совсем перед концом, но когда отец еще мог как-то говорить, он посмотрел на всех нас, потом, обратившись к мамуле, сказал: "Маша, что они с тобой все сделают? Они же тебя на части раздерут. Они..." и взглянув на меня: "Я ее так обожал, а она..." Затем, кроме мамули, он никого больше не узнавал, и требовал: "Давайте мне воды... воды... горло совсем сухое... надо выпить воды... ведь публика ждет... надо петь... публику нельзя обманывать... они же заплатили... воды... публика ждет... петь надо...", и он умер.

До последней секунды он оставался на посту. До последней секунды его главной заботой была забота о его деле, его служении, его миссии в этом мире.

Уже много лет спустя я как-то встретила Жандрона. Мы разговорились, и он мне сказал: "Никогда за мою долгую жизнь врача я не видел более прекрасной смерти."

.....
"Я царь еще!"

(Продолжение следует)

Евгений Хорват

Вокруг десяти реплик «Комедии о Алексее человеке Божьем» М. Кузмина

«Комедия о Алексее человеке Божьем» принадлежит к числу нескольких кузминских пьес об ушедших из мира для совершения христианского подвига (см. «Комедию о Евдокии из Гелиополя», «Комедию о Мартиниане»). Все три названные здесь «комедии» относятся к весне-лету 1907 года. «О Евдокии» открывает этот триптих (март 1907), «О Мартиниане» завершает (июль 1907, окончательная редакция — 1908). «О Алексее» находится в хронологическом центре композиции (апрель-июнь 1907).

Если отбросить персонажей и вообще конкретные атрибуты «комедий», то задним числом окажется, что такой прием оправдан и возможен: в итоге предстает схема явно общей идеи, совпадающая с хронологической. Симметричность ее безукоризненна: с левого края — история человека, пребывавшего во грехе, но услышавшего глас Божий и обратившегося. Справа — рассказ о монахе, подвергавшемся искушениям дьявола. Герой серединного повествования, праведник, изначально праведником бывший и до своей кончины вселявший в дьявола, очевидно, полную априорную безнадежность.

Эта эллинистическая правильность композиции христианского материала весьма симптоматична для времени создания рассматриваемых пьес. Сознательно или бессознательно, Кузмин избрал метод, напоминающий о первых веках христианства, когда писатели соответствующего направления хоть и пытались, в противовес языческим авторам, «не обращать внимания на цветистость слов, но исследовать самое дело речи»¹, однако волей-неволей следили за периодами, подчинялись определенным правилам, на данном этапе развития языка уже бывшим не излишествами, а плотью его.

Чтобы выявить подоплеку кузминской темы и жанра, следует вспомнить, чем являлся эллинизм для «рафинированного петербуржца» начала XX века.

— ...Это ересь, что с победой христианства исчезли сильные, языческие поэты и философы, они нигде не встречали понимания, самого примитивного понимания, и должны были погибнуть. Какое одиночество испытывали последние философы, какое одиночество... — вздыхает один из героев вагиновской «Козлиной Песни».

Вместе с ним, с Неизвестным поэтом Вагинова такими «последними» ощущали себя относительно многие, и начало нашего столетия было им, как начало нашей эры. Однако не следует полагать, что здесь имело место разочарование в христианстве, еще успевшем вскормить этих людей. Исторический объективизм, наоборот, их умами не владел, так что им вполне можно было не думать, например, о том, что языческие философы противились воссиявшему Свету; ощущение как таковой «последности»

себя в торжестве нового почти оправдывало отождествление световых волн, сметавших гордых римлян, с морем неверия и невежества, захлестывавшим петербургские островки.

Кузмин, несомненно, принадлежал к тоскующим «последним»; однако, в классицистической ностальгии он заходил дальше большинства своих собратьев. Если они только грустили по Элладе, по Риму, то Кузмин, будучи подлинным поэтом, с какой-то даже деловитостью занимался воссозданием объекта. Он проходил через двойную арку: миф его был так выпукло вылеплен фантазией, что становился миром, — попадая в который, Кузмин из «последних» естественно становился «одним из». Как было вернуться к самому себе, то есть к одиночеству, коему «последность» служила, разумеется, лишь вариативным наименованием? Единственное, что можно для этого предпринять в вымышленной — торжествующей — языческой реальности, это стать христианином. Одиночество «последнего» обращалось в одиночество «первого», не меняясь по существу.

Таким образом, определяются локально-темпоральные координаты авторского героя Кузмина. Исходя из них, проясняется, в частности, смысл термина «комедия», примененного Кузминым ко всем трем своим пьесам. Ведь при четком разграничении у древних драматических жанров не приходится предполагать, что «комедия» здесь суть «действие вообще». Скорее, Кузмин снисходительно идет на поводу восприятия массы языческих зрителей, которым сама по себе христианская тема все еще кажется изрядно смешной. С другой стороны, если в туманном будущем (нашем и Кузмина настоящем) комедийность должна будет проявляться в фактуре, то пока что — то есть в заданных Кузминым и Кузмину условиях — она дается и усматривается преимущественно в структуре вещи. В подобном аспекте все необходимые приметы комедийности здесь налицо. Нам, чтобы лучше осознать их из нашего далека, стоит, видимо, прибегнуть к более близкому понятию «басни». Действие каждой из трех кузминских пьес завершается чисто басенной рифмованной концовкой, моралью. На протяжении действия кузминские персонажи часто поют, прозаический текст постоянно перемежается стихотворным и в этом проявляются приметы смежного с комедией водевиля.

Тут же становится объяснимой и лубочная простота кузминских «комедий». Христианский автор Кузмин популяризирует христианскую идею средствами литературы; до сложностей ли, когда нужно показать насмехающимся язычникам самое насущное. Само собой, это касается внешней стороны дела; есть и внутренний аспект, в котором сквозь кузминский лубок проглядывает икона, — то есть, «простота» обнаруживает спиритуальные черты Абсолюта.

Если же говорить о невымышленных современниках

1 См: Послания к Автолику св. Феофила. Антология «Раннехристианские Отцы Церкви», Брюссель, 1978.

Кузмина, то для них, быть может, эта внешняя лубочность, впрочем, весьма изящных вещиц столь изошренного человека, как Кузмин, в столь усложненной среде, как Петербург начала столетия, сама по себе придавала делу комический характер. Кузмин, словно профессиональный драматург, работающий "наружу", учел весь спектр возможных восприятий: от выдуманных — до реальных, из какого-то универсального центра обозревая круговые ряды разноплеменных и разновременных зрителей.

* * *

Среди песенных вставок в основной текст кузминских "комедий" — то водевильного, басенного, то молитвенного характера — одно стихотворение стоит особняком и заслуживает соответствующего рассмотрения, как и фон, на котором оно происходит; оно помещено в начале центральной, наиболее "идиллической" части кузминского триптиха — "Комедии о Алексее". Стилистически и тематически оно водевильным целям, равно как и признаком "басенной" комедийности, не служит. Подается оно также отлично от прочих принадлежащих "комедиям" стихов, образуя маленький "ход", зеркально обратный общему принципу: в то время, как основной, прозаический текст всех трех пьес перебивается обычно стиховым, образующим при этом цельную и целую реплику, э т о т стих сам прославляется прозой и расщепляется на несколько реплик, причем двух разных действующих лиц. Вот отрывок, о котором идет речь:

"Часть первая.

Рим. Спальня Мастридии. Мастридия, Аглаида, служанки.

Мастридия:

Я все хочу вспомнить эту песню, что пели девушки; там еще говорится о плотниках.

Аглаида:

Мы справляли свадьбу по старине и не отбросили веселые сельские песни, которых ты, как девица царского рода, не слышала раньше.

Мастридия:

Это языческие еще?

Аглаида:

Да, это языческие еще. Она так начинается:

Снова потерял венком цветок.
Плотники строят брачный терем.
Плач печальный от нас далек:
Счастье зовем мы, счастьем верим.

Мастридия:

Счастьем верим.

Я, кажется, помню следующую строфу:

Новую розу в веночек вплетем —
Плотники терем кончат скоро.
Вечно идут все таким путем.
Плачет...

Аглаида:

Плачет Деметра, плачет Кора.

Мастридия:

Плачет Кора.

Цвет ли погибнет...

Аглаида:

В грядущем плод.

Плотники, стройте гроб девичий!
Скоро падешь ты, святой оплот,
Скоро ворвется гомон птичий.

Мастридия:

Я не совсем понимаю последних слов.

Аглаида:

Песня еще длинна, и из дальнейшего яснее смысл предыдущего. Само по себе ничто не бывает понятно."

Для заинтересованного читателя последняя реплика полностью опускает концы в воду: продолжение не обнаруживается ни в тексте комедии, где после слов Аглаиды Мастридия меняет тему разговора, ни во всем поэтическом наследии Кузмина. И то сказать: сведенье о наличии "дальнейшего" само по себе ввергает в недоумение. Последние две строчки стиха и интонационно, и по смыслу выглядят, как явная концовка, причем концовка для Кузмина характерная. Песенный рефрен обещания — "скоро... скоро..." (вспомните: "Скоро, скоро/ Увенчается/ Розой грудь...²") — и должен был бы служить эмоциональным завершением — или разрешением этого (как будет показано ниже), по существу, плача, если бы подобное разрешение допускал контекст. Обратимся для начала к последнему. Аглаида, мать главного героя пьесы, Алексея, с которым обвенчалась Мастридия; разговор ведется между только что отыгравшей свадьбой и первой брачной ночью, что не состоится, как и все супружество, ибо Алексей уйдет из дома, чтобы стать подвижником. Здесь тот факт, что "дальнейшего" нет, приобретает второе значение, касающееся уже не песни, а жизни Мастридии. Последнюю строфу:

Цвет ли погибнет — в грядущем плод.

Плотники, стройте гроб девичий!

Скоро падешь ты, святой оплот,

Скоро ворвется гомон птичий.

— Мастридия не понимает недаром. Ею может быть еще понятна — в традиционном, обрядовом значении — тема плача, проходящая сквозь первые две строфы, где слова "плач печальный от нас далек" только усиливают экспрессию, семантически вовсе не означая, что поющие на свадьбе подруги Мастридии далеки от плача, что плача как такового нет; здесь, разумеется, только далекость плачущих богинь, Кору и Деметры, чей плач, однако, все-таки слышен, — и уж куда, мол, до них нам, смертным! Но и мы, по мере сил, плачем. Плачем, оплакивая прощание одной из нас с девством; плачем, потому что нам-то это еще только предстоит и заодно именно потому, что предстоит; быть может, мы оплакиваем и свою грешную, больше невозможную языческую любовь к Мастридии; плачем.

За поверхностным значением плача, которое впоследствии оказывается, собственно, ложным, со стороны видно другое, истинное. Мастридия пока не может его открыть, ей просто не приходит в голову, что оно существует, пусть интуитивно она и чувствует нечто тревожное. Но если это тревожное в первых двух строфах, объективно говоря, не содержится, а привносится в них постфактум либо бессознательным чутьем, то в третьей строфе оно на самом деле присутствует как данность, лишь от малой части закрытое все тем же облачным, "маст-

ридиным” семантическим слоем. Так, “цвет ли погибнет — в грядущем плод” обозначает для Матридии, конечно, цвет девства и плод супружества. Но в следующей строчке горестная реальность дает о себе знать уже настолько сильно, что внешнее покрытие сползает здесь, как скатерть со стола, что и повергает Матридию в растерянность. (“Я не совсем понимаю”): “гроб девичий” можно истолковать, как — гроб, конец д е в и ч е с т в у (“брачный терем”), а не собственно — девице, разве что с невозможной натяжкой.

Особый же интерес в ракурсе матридиного “не-совсем-понимания” представляют две последние строчки. В них — вся тайна и вся разгадка. Как девственнице, Матридии закрыто и очевидное сексуальное значение — “Скоро падешь ты, святой оплот,/ Скоро ворвется гомон птичий”. Но суть в том, что если смысл всего предыдущего — оплакивания того, чему не суждено сбыться — скоро станет Матридии ясен (как только она узнает о бегстве Алексея), то э т и строки, оплаканные предыдущими, не проявятся для нее никогда, ибо она никогда не узнает о щ у щ е н и я в них описанного. Строки эти, составляя объект плача, открывая собою его причину, сами не открываются, поскольку в противном случае плач не был бы нужен. Происходит своеобразное замыкание смысла.

Что получается в итоге? Вместо цветка девчества, который будет, мол, потерян в брачном венке, выходит другое: веночек (— брак — муж) теряет цветок; цветок потерян для жизни неудавшимся браком. “Счастье зовем мы, счастьем в-рим” вместо семантики спокойного, радостного ожидания обретает ноту отчаяния, со “счастья” логическое ударение переносится на “зовем”. Обнажившаяся семантическая порода обогащается темой Алексея: “вечно идут все таким путем” — путем уже не брачным: путем горя и одиночества, — но и: путем, которым ушел и пошел Алексей. “Цвет ли погибнет” параллельно первой строке: погибнет цвет не в девчестве, а жизни; но и: “в грядущем плод” относится уже не к Матридии, обозначает уже не плод супружества, а духовный плод, что вырастит Алексей своим подвижничеством; райский плод, сокровище на небесах. “Гомон птичий” — это та вторая точка, благодаря которой рай становится тематической линией, если принять за первую точку необходимую для проведения таковой слово “плод”.

* * *

Сообщая о некоем “дальнейшем, из которого яснее смысл предыдущего”, не Аглаида, но слова ее — ведь Аглаида сама еще не знает, что предстоит ее невестке — имеют в виду не песню, а события пьесы. Матридия — опять же, не как персонаж, а как сумма реплик, — чувствуя тревогу, меняет тему разговора. Вообще здесь происходит парадоксальное обособление реплик от действующих лиц, их произносящих: реплики относятся к общей самопронизанной ткани текста; следует помнить, что на каком угодно этапе сюжетного развития текстовая ткань состоит из все тех же нитей. В любом литературном произведении они тянутся насквозь от корки до корки, они — не в пример героям — “знают” все с самого начала. Аглаида же и Матридия — не ткань, а ткачихи (как и положено было женщинам в старое доброе время) ...

* * *

Рассмотренное выше стихотворение Кузмина являет со-

бой странный диссонанс к другим стихам, к характеру и стилю трех его пьес. За определениями далеко ходить не надо, — в своем роде это также “гомон птичий”, каковым выражением не менее хорошо определяет и размер стиха.

Распространяя то связанное с сюжетом “Комедии о Алексее” соображение, что открывающий “Комедию” плач имеет место именно потому, что “птичьему гомону” не суждено стать о щ у щ е н и е м героини, можно сказать, что в общепозитическом плане форель-таки разбила лед: в отличие от Матридии читателю это ощущение дано. Не служит ли кузминский стих ключом к еще одной стадии понимания триптиха? Точнее, не к пониманию, а к восприятию, и не восприятию, а к мимолетной догадке о смутном подтексте...? И не о подтексте, а о настроении писавшего пьесы поэта, — настроении, не так уж в пьесах и отразившемся?

В “песне девушек” чудится некий подспудный протест Кузмина по отношению к создаваемому. Хотя мелодия песни в конечном счете победная — дух побеждает, “в грядущем плод”, хотя песня посвящена, как и вся пьеса, превозношению Алексея, есть в ней горечь и жалость к Матридии, есть какая-то “человеческая слабость”: один покидает другую во имя Бога. Бог — разлучник. “Кто мать Моя, и кто братья Мои? (...) Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и мать”... Каким холодом пронизаны эти слова для недостаточно сильного любовью!

Вот он, еще один, почти невидимый, по инерции, пролет Кузмина на гигантских шагах. Сперва из христианства — в язычество, затем оттуда — в христианство, и вот снова — пускай едва заметное — арка. Это арка слабости. Но оттуда, куда она ведет, — из не-христианства, — веет на тех, кто, зная творчество Кузмина, ждет этого ветерка, — мистическим почти ужасом.

И не только от стихотворения (которое, спору нет, самоценно); дело тут и в презентации его, представляющей собой удивительное внутреннее переплетение его с прозой, преломление драматическим методом. И этот прием — “вспоминание”; и повторение Матридией, словно в бреду, последних полустихий строф — “Счастью верим”, “Плачет Кора”; и то, что она запинаясь на таких неожиданных местах — на “плачет”, не доходя, как было бы естественно, до цезуры, на “цвет ли погибнет” — не странно ли, что запоминается это редко встречающаяся конструкция, а за ней следует осечка, хотя удержать ее в памяти, казалось бы, можно лишь в пределах всей строки? И предваряющий “вспоминание” обмен фразами со столь разговорным синтаксисом: “Это языческие еще?” — небрежное эхо: “Да, это языческие еще”. “Языческие” — и вдруг: “Она...” — смысловой крючок забрасывается через две реплики вверх, туда, где еще фигурирует единственное число — “песня”. И плачущие о римлянке почему-то греческие боги (вернее, фигурирующие под своими греческими именами также и римские богини, Церера и Персефона). И, наконец, издевательски-кошмарные в силу неприменимости к обозначаемому обозначение “веселая сельская песня”, — все это, ломающееся, как лед, дующее, как ледяной надо льдом ветер, светло-белое, то ли оккультное, то ли фрейдистское, и способно вселить ужас в читателя, от степени эмоциональности которого зависит, смягчается ли этот ужас или разжигается пленительной старческой игривостью Кузмина.

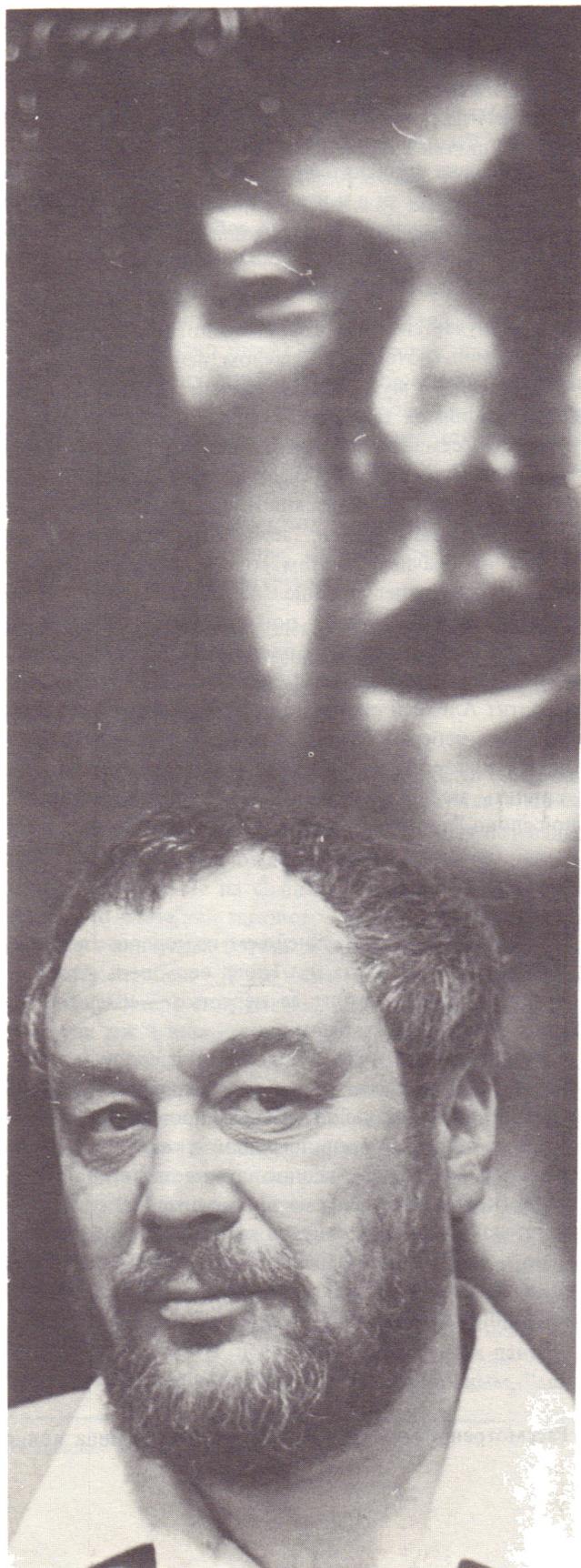
Сентябрь 1982

«Советская власть — асфальт. А под асфальтом жить нельзя»

Ты приехал в Париж в конце 1977 года, то есть на Западе ты уже семь лет. Таким ли ты себе его представлял, находясь там? И что тебя особенно здесь поразило?

Вообще Запад представлялся довольно примитивно, на манер этих рекламных картинок. Нечто вроде нью-йоркского Бродвея. А потряс меня Запад прежде всего своим изобилием. Понимаешь, как я себе представлял изобилие там, в Москве, когда говорили об изобилии на Западе. Ну, вот, к примеру, мой продмаг, в который бывало придешь, а в овощном, скажем, отделе есть картошка, но нет свеклы или капусты. На другой день есть свекла, но нет картошки. Или, например, есть и молоко, и кефир, и простокваша, а назавтра — только молоко. И для меня понятие "все есть" не выходило за пределы этого ассортимента. "Все есть" означало, что есть и картошка, и свекла, и молоко, и простокваша, и т.д. И вот когда я столкнулся с изобилием здешним, то... Существует выражение: такое может только присниться. Мне в Москве такое присниться не могло, что в моем воображении в моем арсенале представлений об изобилии ничего подобного не было. Западное изобилие, как я уже сказал, потрясло меня и вызвало единственный вопрос: зачем столько, кому это нужно, кто это покупает?

Вот Запад с бытовой точки зрения. Что касается свободы вообще и свободы творческой, то мне говорить об этом не хочется. Это и так всем понятно. Но вот о чем я хотел бы сказать, как бы подводя итог моему семилетнему пребыванию здесь. С самого начала пришла ко мне тут мысль, и постоянно она ко



мне возвращается — есть все-таки Бог! Иначе с какой бы стати я оказался здесь? Ведь я не хотел сюда ехать, я сюда не рвался... Уезжать из России? Почему? Я там не голодал, особой нужды ни в чем не испытывал, КГБ, как за некоторыми художниками, по пятам за мной не ходил. С другой стороны — как человек невероятно озлобленный на советский режим, я считал, что я-то отсюда никуда не двинусь, это уж, извините, гораздо больше моя страна, чем ваша. Так я рассуждал. И поэтому мою эмиграцию, прозошедшую, в сущности, в результате случайного стечения обстоятельств, я считаю чудом. Никак не иначе!

Ты говоришь, что не голодал там, не бедствовал. Ладно. Но ты все же — художник. А художнику свойственно желание не только писать картины, но и показывать их, иными словами — выставляться. Этого же ты был, практически, лишен.

У каждого художника есть свои точки опоры, на которых зиждется его понимание: что такое творчество, скажем, как он должен жить, должен ли выставляться. В моем представлении, которое, естественно, родилось на советской почве, лично я и художники моего плана не должны были в обществе, в котором они жили, претендовать ни на что. Они должны были, если рассматривать эту проблему принципиально, ежедневно повторять: "Спасибо советской власти за то, что она нас еще не арестовала!" А большее — выставки, деньги — с моей точки зрения, требование совершенно несусветное. Это все равно, что просить у козла молока. Попробуй — он тебя забодает. Советская власть и я, советская власть и художник моего типа — это две абсолютно враждебные друг другу категории. То, что я там иногда выставлялся, исходило не от меня. Какие-нибудь энтузиасты хотели сделать выставку. Я им говорил: "Пожалуйста, только не погубите картины". Когда же мои выставки закрывали — то на четвертый день, то через пятнадцать минут после открытия — я не удивлялся и не возмущался, ибо понимал, что так должно быть.

Понимаю твою точку зрения, но не принимаю ее. Ведь ты все-таки осознавал, что во всем мире художники живут по-другому: пишут картины, продают их коллекционерам или музеям, выставляются, то есть живут нормально. А ты — нет. Это же тебе было ясно. Кроме того, и в Москве были художники, которые отстаивали право на выставки.

Я всегда был всей душой с этими художниками, но, как ты знаешь, крайне редко в этих выставках участвовал. Никакой диалог с советской властью не был для меня возможен. У нас мог быть диалог лишь одного типа: или я — их, или они — меня. Мы — враги, заклятые враги, а у врага ничего не просят.

Можно не просить, а требовать.

Нельзя требовать от козла — молока.

Ну, хорошо, это образ. А на практике все-таки добились художники чего-то!

Конечно, конечно. Но для меня эти выставки, которых добились, кстати, ценой большой крови — всего лишь временная поблажка советской власти. Ну, вынудили ее. Обстоятельства для нее неблагоприятно сложились. Однако, ведь в любой момент все снова прикрыть могут. Завоевания художников — шаткие.

Безусловно — шаткие. Но так или иначе, советская власть, пусть временно, но вынуждена была отступить. Вспомни, сколько за последние десять лет состоялось в Москве и Ленинграде официально дозволенных выставок неофициального искусства! Столько лет в прессе травили, давили бульдозерами, и вдруг теперь эти проклятые картины смотрят рядовые советские люди. Уверю тебя, что при этом многие из них задумываются, какой-то поворот в сознании, пусть не у всех, но у кого-то, происходит. И для художников все эти выставки немало значат.

Верно. И все-таки... Советская власть постоянно расшатывается живой действительностью. Сквозь асфальт советской власти, скажем, все время пробивается зеленая травка, в асфальте появляются трещины. Но их-то можно закатать. Советская власть — асфальт. А под асфальтом жить нельзя. Честь и хвала тем, кто пробивал этот асфальт, но у меня была другая цель. Я хотел в уголке постараться сделать что-то такое, что доказало бы: и при советской власти возможно сохранить внутреннюю свободу и душу. Невероятно вроде бы, но можно. И не случайно те картины, написанные на холсте, наклеены на фанеру. Я, думая, что им предстоит валяться по каким-то чердакам и подвалам, наивно стремился сделать их прочнее. Вот моя позиция — там.

Вернемся к твоей парижской жизни. За семь лет ты написал много картин, по-моему, очень много, то есть твоя творческая активность здесь выше. И бы-

ли у тебя персональные выставки и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Торонто. И во многих групповых русских выставках ты участвовал и выставлялся в парижских салонах...

Да что говорить?! За семь лет, прожитых здесь, я прожил, в сущности говоря, вторую жизнь, равную моей сорокалетней российской. В смысле объема событий и информации.

Вот ты говорил о внутренней свободе, которую старался сохранить в Советском Союзе, хотя это и трудно. Оказывается, и здесь, на свободном Западе, сделать это не так просто. Действует соблазн рынка. Я с удивлением наблюдал за тем, как некоторые художники, выдержавшие там давление тоталитарной машины, не изменявшие себе, вдруг на Западе стали метаться из стороны в сторону, работать то в одном, то в другом стиле в погоне за рынком сбыта. Я говорю именно о таких художниках, а не о тех, кто изменился из-за побуждений внутреннего порядка, из-за внутренней потребности. Но и те, кто остались верны себе, не могли законсервироваться. Новые условия жизни, новая атмосфера, новая информация должны были повлиять и повлияли на них. На мой взгляд, твое творчество здесь — прямое продолжение того, что ты делал там. Но все-таки какие-то новые нюансы, акценты появились и в твоих работах. В связи с этим я хочу спросить: как трансформировалось на Западе твое сознание, твое мироощущение, и как это сказалось на твоих картинах?

Ответить на этот вопрос мне довольно трудно, потому что я считаю себя художником в значительной степени странным. В России изобразительному искусству я, практически, не учился нигде и ни у кого. И хотя формально я где-то обучался, точнее, числился, могу назвать себя самоучкой чистейшей воды. У меня не было ни одного педагога, ни одного мастера-художника, который меня чему-то научил. Если говорить о том, что я заимствовал одно время у Сурикова, одно время у Кончаловского, то это были скорей всего попытки вырваться из душного мира натурализма.

Но ты все-таки в художественной школе учился?

Нет, я просто отбывал там повинность. Ну, какие-то основы ремесла школа мне дала. Но уже со второго года обучения я никого и нигде не слушал. Шел своим путем, искал себя. И в 1961 году я сделал портрет с двумя персона-

жами, условно говоря, портрет, после чего и понял: это и есть м о е. Это я искал инстинктивно с 1950 года. Этот образ меня мучил десять лет, его я хотел выразить. Так вот и родился мой персонаж или мои персонажи, которые живут в моих картинах и сегодня. Образ этот трансформировался, менялся: был более гладкий, более шероховатый, с открытым ртом, с закрытым ртом, более размытый, более четкий... Но по сути своей этот образ не менялся, то есть это был какой-то человеческий облик, облик человека, созданного мной. Некая философская, что ли, маска. Когда меня спрашивают, откуда я формально возник, то я называю двух художников: Казимира Малевича уже фигуративного периода и примитивиста Анри Руссо. Опять же, я не учился у них, нет, но они мне дали толчок, их творчество как бы послужило для меня катализатором в создании моего персонажа.

Ты говорил мне как-то еще в Москве, что твои персонажи это как бы новая человеческая раса.

Да, это новая раса. Это человек в своем сложном проявлении, когда он является одновременно и гуманистом и антигуманистом, когда нельзя отделить в человеке два этих начала друг от друга. Как бы это лучше сказать? Сложное чувство владеет мной, когда я пишу свои картины. Это — не добрый человек и это — не злой человек. А почему новая раса? Потому что, с моей точки зрения, изобразительное искусство, западное, во всяком случае, никогда этой проблемой не занималось. Подобные образы — я обнаружил это уже здесь — отчасти существуют в ликах Будды, скажем, в ликах кхмерских богов, в образах древнеегипетского искусства... В тех эпохах, где человек еще не успел разграничить добро и зло, разъять их, отделить друг от друга. В западном искусстве я аналогов своему персонажу не нахожу.

Но ты, Олег, не ответил на мой вопрос: как трансформировалось твое сознание на Западе, если, конечно, оно трансформировалось, и как это сказалось на твоём творчестве?

Ну, это видно, по-моему, стоит только приглядеться к картинам. Там — мой персонаж, которого держат за глотку, который вынужден жить в коробке, это персонаж агрессивный вследствие своей несвободы. Он и страдающий, и безжалостный одновременно. Здесь мой персонаж потерял вот эту агрессивность. В последних работах он даже на-

чинает как-то расплываться в тумане. Его черты делаются расплывчатыми. Но стержень, хребет того, что я делал там и того, что делаю тут, остался тем же. В моих здешних холстах не стало больше гуманизма, больше добра или любви. Просто здесь мои персонажи не сидят на цепи. Поэтому они менее агрессивны, они не бросаются на кого-то с ножом или пистолетом. Но суть их не изменилась. Понимаешь, я там сидел в своем углу, как Пимен в келье, и писал. Не в том смысле, что я был летописцем. Нет, но я от них, от сильных мира

того, абсолютно ничего не хотел. Я был свидетелем, который в своем углу писал свидетельские показания о жизни людей вокруг себя. И в этом смысле чувствовал себя таким Пименом. Помнишь, он пишет: мол, Борис, Борис, все перед тобой трепещет, а тут вот, в тридцати шагах от тебя сидит старик и пишет свою летопись, все описывает, и ты этого не знаешь. И здесь я тоже остаюсь свидетелем, я занимаюсь тем же, я тот же Пимен, который свидетельствует о жизни людской вокруг себя.

Но здесь все-таки жизнь иная.



Олег Целков. "Завёрнутый", холст/масло, 1979.

Здесь все же людей так не давят, не душат...

Подожди, подожди. Это самое интересное. Конечно, та жизнь и эта — принципиально разные вещи. Однако, и здесь тоже душат. Разница в том, что у тебя руки не связаны, и ты можешь защищаться, ты тоже можешь душить. А там могут душить только тебя. Но разве тут тишь да гладь? Нет! Тут люди и конфликтуют, и борются за место, так сказать, под солнцем, и отталкивают друг друга локтями. Да и вообще, я живу ведь не одним Парижем. А что творится в мире, какие горы трупов показывают по телевизору, а террористы, убивающие невинных... Может, тут жизнь даже и побурнее. Но это — естественная жизнь. Ни у кого, повторяю, руки не связаны. В этой жизни я чувствую себя не холопом у барина, а свободным человеком. Не только внутренне, просто свободным человеком. А там я был холопом, который спрятался на сеновале. Барин в любую минуту мог спросить: "Где этот самый Васька?" Да, я пытался отстаивать свою внутреннюю свободу, но это требовало ежедневных, ежемесячных усилий.

И все же внутреннюю свободу ты сохранял: ты писал, что хотел и как хотел.

Я был там так же внутренне свободен, как был свободен у барина холоп Шевченко. Свободен он был, как поэт? Свободен! Холопом он был? Холопом! Вообще, отстаивать внутреннюю свободу нужно только при несвободе. Здесь, например, я о внутренней свободе и не думаю. Я просто свободен. Я счастлив. Я живу в нормальной квартире и очень рад, что в любую минуту, если захочу, могу переехать в другую. Полиция ко мне не приходит. Управдом в дверь не стучится. Военкомат меня не вызывает. Здесь я могу делать все, что я хочу, подчиняясь только собственной совести. И ты знаешь, вот мы говорим о том, что мои персонажи потеряли тут агрессивность, то есть о том, как на творчестве моем отразилась перемена в моей жизни. Но, в сущности, об этом говорить пока рановато. Я чувствую, что изменения еще будут. Какие? Не могу сказать. Просто чувствую, что будут. Конечно, не принципиальные. Сила накала, что ли, меняется. Ток остается тем же самым, что и раньше, но сила накала другая. Впрочем, может быть, это не очень точно сказано, ибо иногда сила накала в нынешних картинах становится даже больше. Потому что я вдруг, в силу по-

ступающей информации, делаюсь Пименом не только России, а всего земного шара... Но слишком уж сложная это тема. Когда со мной говорят о моих картинах, я испытываю очень большие затруднения, так как и сам не всегда свои картины понимаю, точнее, не всегда могу объяснить. Я создаю образ, а расшифровка его мне часто неясна. Я просто чувствую — вот этот образ, это то, а это — не то, а вот так должно быть.

Иными словами, ты выражаешь то, что ощущаешь?

Да, но это не имеет отношения к моей жизни. Я могу быть очень спокоен, а образ — эмоционален. Я могу быть веселым, а образ получается печальный. Я вообще убежден, что всякий настоящий художник, а таковым я себя считаю, является как бы рупором, как бы выразителем чего-то, идущего свыше. Бог как бы нашептывает, а художник произносит. Мой персонаж — результат не каких то моих логических умозаключений, моих удач или неудач, нет... Я только пытаюсь найти для него слова, то есть изобразить его. Если я нахожу слова, то это не моя удача, а Божья. Если же картина не получилась, я сказанных мне слов не расслышал или не смог их складно перевести. Я свои картины не пишу, я их просто исполняю.

Скажи мне, как художник ты добился на Западе того, чего хотел? И еще: что тебе дал Запад, как художнику?

Прежде всего — что я тут получил. Как художник — все! Впервые в жизни я получил возможность видеть любые произведения искусства. Не те, которые изредка привозили на выставку в Музей им. Пушкина, не те, которые можно было там видеть в случайно попадавших в руки журнальчиках, но абсолютно все — и в натуральном виде, и в журнальчиках. Когда хочу и что хочу. Нужно сказать, что я прослеживаю во многих интервью наших русских художников одну очень странную для меня деталь. Некоторые из них, они узнают себя, говорят: "А я и в России знал, что на Западе в искусстве происходит. Я там в библиотеках журналы смотрел" Я этим художникам хочу сказать, что для меня подобные их заявления столь же комичны, как если бы какой-нибудь негр приехал к нам в деревню и на вопрос, как ему нравится русский пейзаж, ответил бы: "Да я это уже видел на репродукции картины Шишкина "Рожь", еще в Африке". Так вот и с искусством. Нельзя составить себе о нем представление по журналам. Нужно его видеть

в полном объеме. Не только удачные вещи, кстати сказать, но и неудачные. Не только знаменитостей, но и художников малоизвестных. Нужно видеть весь поток. Удачные вещи возникают на гребне огромной волны. Тысячи художников, образно говоря, составляют эту волну, и кто-то из них оказывается наиболее громкоголосым. Однако в этой волне находится и масса других, пусть не великих, но настоящих художников, которых тоже нужно видеть. Ибо это — живой процесс. Никакие книги, никакие журналы не могли мне дать подлинное представление о Руо, Пикассо, Матиссе. Там у нас висело пятнадцать роскошных Матиссов. А здесь я вижу сотню, да к тому же разных периодов. И еще два десятка Матиссов, о которых я слыхом не слыхивал. Нет, изучение живописи по книгам — не изучение. Только на Западе мне удастся откристаллизовать свое творчество. И именно потому, что так много всего, самого разного, можно видеть. Видеть и сравнивать. Многие из моих прежних представлений об искусстве кажутся мне теперь смешными, так как тут я увидел сотни и тысячи работ, анализировал их, сравнивал со своими. Меня называют художником оригинальным. А я хочу стать экстра-оригинальным. И это может произойти лишь в результате того, что на Западе я вижу массу художников, на которых не хочу быть похожим. Если в России я не хотел походить, скажем, на сто художников, то здесь мне приходится быть не похожим на десять тысяч художников. А это стимулирует, ставит передо мной интереснейшие творческие задачи.

Интервью взял Александр Глезер

июнь, 1984. Париж

ВНИМАНИЕ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

Литературная консультация,
литературная запись мемуаров,
редактирование, корректура,
переводы на английский язык,
уроки русского языка.

Перепечатка на машинке.

Оплата по договоренности.

Просьба звонить по телефону:
201-432-9636 после 7 ч. вечера

ВЕРНИСАЖ ОСКАРА РАБИНА



Оскар Рабин. "Город", холст/масло, 1962.

Оскар Рабин. "Лианозовский автопортрет", холст/масло, 1961.





Оскар Рабин. "Парижский автопортрет", холст/масло, 1983.

ДВЕ ВЫСТАВКИ

Редко бывает, а, может быть, это даже случилось впервые: два вернисажа в галерее в течение одного месяца. Но дело в том, что первая из этих экспозиций являлась для галереи тоже несколько необычной — на ней ни одна работа не продавалась. Это была персональная выставка художника-сатирика Вячеслава Сысоева, который за свое творчество осужден на два года лишения свободы и находится сейчас в одном из лагерей архипелага ГУЛлаг. В Париже в феврале нынешнего года уже состоялась персональная выставка Сысоева, но на ней были представлены, главным образом, рисунки художника. Теперь в "Галерее Мари-Терез" экспонировалось тоже несколько рисунков Сысоева, однако основу экспозиции составляли все-таки его картины в стиле лубка. Все эти работы, впервые показывались в Париже и попали они сюда из частных американских собраний, главным образом, из коллекции профессора Нортон Доджа.

Выставка Сысоева продолжалась всего неделю — с 13 по 20 ноября, но этого было достаточно для той цели, которую поставила перед собой галерея: еще раз привлечь внимание французской общественности и прессы к судьбе репрессированного талантливого художника. В организации этой выставки, и в частности, в подготовке и выпуске каталога, большую помощь оказал Интернационал Сопротивления.

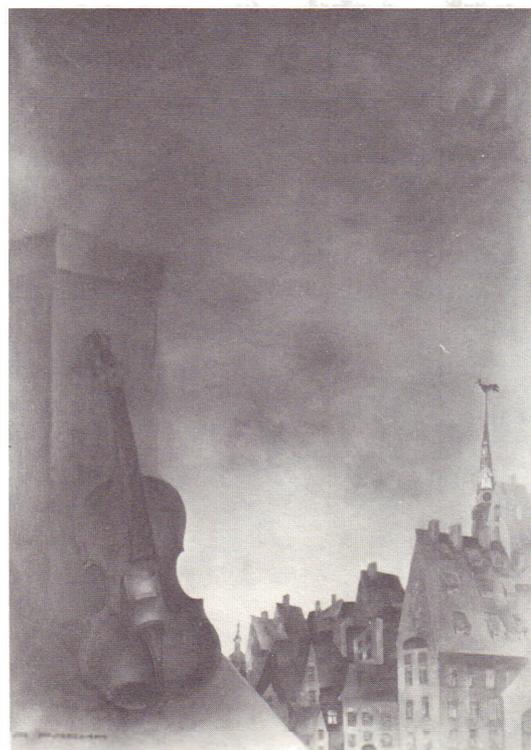
А 25 ноября в "Галерее Мари-Терез" открылась экспозиция Александра Рабина. У молодого художника уже были прошедшие с успехом персональные выставки в Осло и Страсбурге, но в Париже он до сих пор принимал участие только в групповых экспозициях.

За последние два года Александр Рабин добился многого. И дело не только в том, что за это время любители живописи приобрели у него свыше полусотни полотен. Главное, что он окончательно обрел себя, свой стиль, нашел свой мир, необычайно лирический и поэтический. Мир — без людей, но для людей, мир, полный человеческого тепла и мягкого, точнее, умиротворенного, идущего откуда-то из глубины холста, света.

А. Давыдов



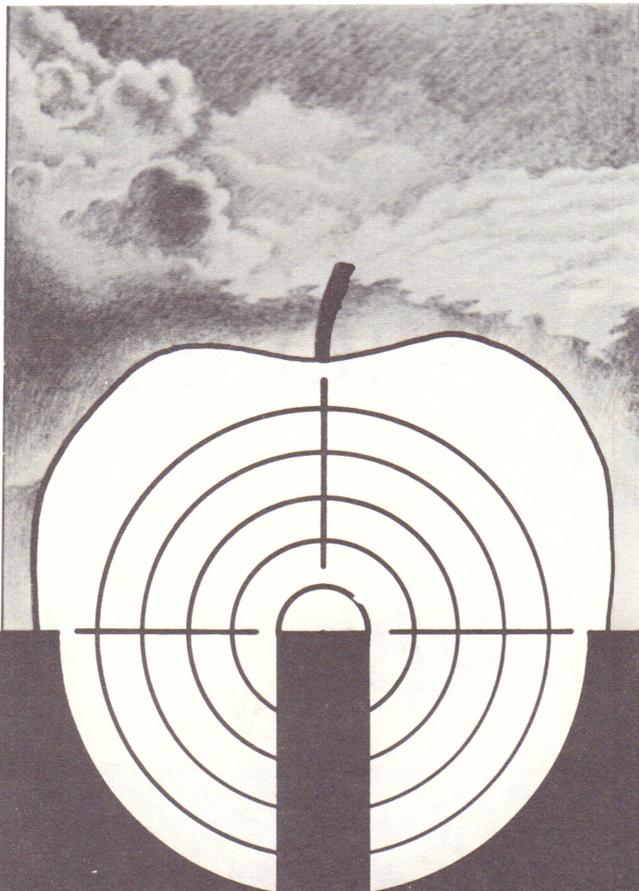
Вячеслав Сысоев. "Открытие памятника", бумага/тушь, 1979.



Александр Рабин. "Скрипка в городе", холст/масло, 1978.

В издательстве «Третья волна»

Нью-Йорк, 1984. 320 стр. \$18.50



Сергей Юрьенен
**ВОЛЬНЫЙ
СТРЕЛОК**

**ФРАНЦУЗСКАЯ ПРЕССА
О РОМАНЕ "ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК"**

"Мощное воображение Сергея Юрьенена причисляет его к списку великих русских имен. Под его пером оживают белые грибы, малина и черника, бесконечная ночь, исчерченная падающими звездами, листья ольхи, еще покрытые утренней росой, вся глубинная суть земли Матери-России, впитывающей всеми своими нервами того, кто собирается ее покинуть. Точно так же Юрьенен проникает в человеческие судьбы, заверченные круговоротом секса и водки... Первый роман Сергея Юрьенена... это великая книга"

"Фигаро"

Чеки и денежные переводы

просьба направлять

по адресу:

**RUSSICA BOOK & ART
SHOP, INC.
799 BROADWAY,
NEW YORK, NY 10003
U.S.A**

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ТРЕТЬЯ ВОЛНА»
предлагает

ТРЕТЬЯ ВОЛНА 17

